

- [Толстой Алексей Николаевич](#)
 - [СОЛНЕЧНОЕ УТРО](#)
 - [АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ](#)
 - [СУТРОБЫ](#)
 - [ТАИНСТВЕННОЕ ПИСЬМО](#)
 - [СОН](#)
 - [СТАРЫЙ ДОМ](#)
 - [У КОЛОДЦА](#)
 - [БИТВА](#)
 - [ЧЕМ ОКОНЧИЛСЯ СКУЧНЫЙ ВЕЧЕР](#)
 - [ВИКТОР И ЛИЛЯ](#)
 - [ЕЛОЧНАЯ КОРОБОЧКА](#)
 - [ТО, ЧТО БЫЛО ПРИВЕЗЕНО НА ОТДЕЛЬНОЙ ПОДВОДЕ](#)
 - [ЕЛКА](#)
 - [НЕУДАЧА ВИКТОРА](#)
 - [ЧТО БЫЛО В ВАЗОЧКЕ НА СТЕННЫХ ЧАСАХ](#)
 - [ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР](#)
 - [РАЗЛУКА](#)
 - [БУДНИ](#)
 - [ГРАЧИ](#)
 - [ДОМИК НА КОЛЕСАХ](#)
 - [НЕОБЫКНОВЕННОЕ](#) [ПОЯВЛЕНИЕ](#) [ВАСИЛИЯ](#)
[НИКИТЬЕВИЧА](#)
 - [КАК Я ТОНУЛ](#)
 - [СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ](#)
 - [ДЕТИ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА](#)
 - [ТВЕРДОСТЬ ДУХА](#)
 - [ВЕСНА](#)
 - [ПОДНЯТИЕ ФЛАГА](#)
 - [ЖЕЛТУХИН](#)
 - [КЛОПИК](#)
 - [В КУПАЛЬНЕ](#)
 - [СТРЕЛКА БАРОМЕТРА](#)
 - [ПИСЬМЕЦО](#)
 - [ЯРМАРКА В ПЕСТРАВКЕ](#)
 - [НА ВОЗУ](#)
 - [ОТЪЕЗД](#)
 - [КОММЕНТАРИИ](#)

Толстой Алексей Николаевич
Детство Никиты

СОЛНЕЧНОЕ УТРО

Никита вздохнул, просыпаясь, и открыл глаза. Сквозь морозные узоры на окнах, сквозь чудесно расписанные серебром звезды и лапчатые листья светила солнце. Свет в комнате был снежно-белый. С умывальной чашки скользнул зайчик и дрожал на стене.

Открыв глаза, Никита вспомнил, что вчера вечером плотник Пахом сказал ему:

— Вот я ее смажу да полью хорошенько, а ты утром встанешь, — садись и поезжай.

Вчера к вечеру Пахом, кривой и рябой мужик, смастерил Никите, по особенной его просьбе, скамейку. Делалась она так:

В каретнике, на верстаке, среди кольцом закрученных, пахучих стружек Пахом выстрогал две доски и четыре ножки; нижняя доска с переднего края — с носа — срезанная, чтобы не заедалась в снег; ножки точеные; в верхней доске сделаны два выреза для ног, чтобы ловчее сидеть. Нижняя доска обмазывалась коровьим навозом и три раза поливалась водой на морозе, — после этого она делалась, как зеркало, к верхней доске привязывалась веревочка — возить скамейку, и когда едешь с горы, то править.

Сейчас скамейка, конечно, уже готова и стоит у крыльца. Пахом такой человек: «Если, говорит, что я сказал — закон, сделаю».

Никита сел на край кровати и прислушался — в доме было тихо, никто еще, должно быть, не встал. Если одеться в минуту, безо всякого, конечно, мытья и чищения зубов, то через черный ход можно удрать на двор, А со двора — на речку. Там на крутых берегах намело сугробы, — садись и лети...

Никита вылез из кровати и на цыпочках прошелся по горячим солнечным квадратам на полу...

В это время дверь приотворилась, и в комнату просунулась голова в очках, с торчащими рыжими бровями, с ярко-рыжей бородкой. Голова подмигнула и сказала:

— Встаешь, разбойник?

АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ

Человек с рыжей бородкой — Никитин учитель, Аркадий Иванович, все пронюхал еще с вечера и нарочно встал пораньше. Удивительно расторопный и хитрый был человек этот Аркадий Иванович. Он вошел к Никите в комнату, посмеиваясь, остановился у окна, подышал на стекло и, когда оно стало прозрачное, — поправил очки и поглядел на двор.

— У крыльца стоит, — сказал он, — замечательная скамейка.

Никита промолчал и насупился. Пришлось одеться и вычистить зубы, и вымыть не только лицо, но и уши и даже шею. После этого Аркадий Иванович обнял Никиту за плечи и повел в столовую. У стола за самоваром сидела матушка в сером теплом платье. Она взяла Никиту за лицо, ясными глазами взглянула в глаза его и поцеловала.

— Хорошо спал, Никита?

Затем она протянула руку Аркадию Ивановичу и спросила ласково:

— А вы как спали, Аркадий Иванович?

— Спать-то я спал хорошо, — ответил он, улыбаясь непонятно чему, в рыжие усы, сел к столу, налил сливок в чай, бросил в рот кусочек сахара, схватил его белыми зубами и подмигнул Никите через очки.

Аркадий Иванович был невыносимый человек: всегда веселился, всегда подмигивал, не говорил никогда прямо, а так, что сердце екало. Например, кажется, ясно спросила мама: «Как вы спали?» Он ответил: «Спать-то я спал хорошо», — значит, это нужно понимать: «А вот Никита хотел на речку удрать от чая и занятий, а вот Никита вчера вместо немецкого перевода просидел два часа на верстаке у Пахома».

Аркадий Иванович не жаловался никогда, это правда, но зато Никите все время приходилось держать ухо востро.

За чаем матушка сказала, что ночью был большой мороз, в сенях замерзла вода в кадке и когда пойдут гулять, то Никите нужно надеть башлык.

— Мама, честное слово, страшная жара, — сказал Никита.

— Прошу тебя надеть башлык.

— Щеки колет и душит, я, мама, хуже простужусь в башлыке.

Матушка молча взглянула на Аркадия Ивановича, на Никиту, голос у нее дрогнул:

— Я не знаю, в кого ты стал неслухом.

— Идем заниматься, — сказал Аркадий Иванович, встал решительно и

быстро потер руки, будто бы на свете не было большего удовольствия, как решать арифметические задачи и диктовать пословицы и поговорки, от которых глаза слипаются.

В большой пустой и белой комнате, где на стене висела карта двух полушарий, Никита сел за стол, весь в чернильных пятнах и нарисованных рожицах. Аркадий Иванович раскрыл задачник.

— Ну-с, — сказал он бодро, — на чем остановились? — И отточенным карандашиком подчеркнул номер задачи.

«Купец продал несколько аршин синего сукна по 3 рубля 64 копейки за аршин и черного сукна...» — прочел Никита. И сейчас же, как и всегда, представился ему этот купец из задачника. Он был в длинном пыльном сюртуке, с желтым унылым лицом, весь скучный и плоский, высохший. Лавочка его была темная, как щель; на пыльной плоской полке лежали два куса сукна; купец протягивал к ним тощие руки, снимал куски с полки и глядел тусклыми, неживыми глазами на Никиту.

— Ну, что же ты думаешь, Никита? — спросил Аркадий Иванович. — Всего купец продал восемнадцать аршин. Сколько было продано синего сукна и сколько черного?

Никита сморщился, купец совсем расплющился, оба куса сукна вошли в стену, завернулись пылью...

Аркадий Иванович сказал: «Аи-аи!» — и начал объяснять, быстро писал карандашом цифры, помножал их и делил, повторяя: «Одна в уме, две в уме». Никите казалось, что во время умножения — «одна в уме» или «две в уме» быстро прыгали с бумаги в голову и там щекотали, чтобы их не забыли. Это было очень неприятно. А солнце искрилось в двух морозных окошках классной, выманивало: «Пойдем на речку».

Наконец с арифметикой было покончено, начался диктант. Аркадий Иванович заходил вдоль стены и особым, сонным голосом, каким никогда не говорят люди, начал диктовать:

— «...Все животные, какие есть на земле, постоянно трудятся, работают. Ученик был послушен и прилежен...»

Высунув кончик языка, Никита писал, перо скрипело и брызгало.

Вдруг в доме хлопнула дверь и послышалось, как по коридору идут в мерзлых валенках. Аркадий Иванович опустил книжку, прислушиваясь. Радостный голос матушки воскликнул неподалеку:

— Что, почту привезли?

Никита совсем опустил голову в тетрадку, — так и подмывало засмеяться.

— Послушен и прилежен, — повторил он нараспев, — «прилежен» я

написал.

Аркадий Иванович поправил очки.

— Итак, все животные, какие есть на земле, послушны и прилежны... Чего ты смеешься?.. Кляксу посадил?.. Впрочем, мы сейчас сделаем небольшой перерыв.

Аркадий Иванович, поджав губы, погрозил длинным, как карандаш, пальцем и быстро вышел из классной. В коридоре он спросил у матушки:

— Александра Леонтьевна, что — письмеца мне нет?

Никита догадался, от кого он ждет письмецо. Но терять времени было нельзя. Никита надел короткий полушубок, валенки, шапку, засунул башлык под комод, чтобы не нашли, и выбежал на крыльцо.

СУГРОБЫ

Широкий двор был весь покрыт сияющим, белым, мягким снегом. Синели на нем глубокие человечесьи и частые собачьи следы. Воздух, морозный и тонкий, защипал в носу, иголочками уколол щеки. Каретник, сарай и скотные дворы стояли приземистые, покрытые белыми шапками, будто вросли в снег. Как стеклянные, бежали следы полозьев от дома через весь двор.

Никита сбежал с крыльца по хрустящим ступеням, Внизу стояла новенькая сосновая скамейка с мочальной витой веревкой. Никита осмотрел — сделано прочно, попробовал — скользит хорошо, взвалил скамейку на плечо, захватил лопатку, думая, что понадобится, и побежал по дороге вдоль сада к плотине. Там стояли огромные, чуть не до неба, широкие ветлы, покрытых инеем, каждая веточка была точно из снега.

Никита повернул направо, к речке, и старался идти по дороге, по чужим следам, в тех же местах, где снег был нетронутый, чистый, — Никита шел задом наперед, чтобы отвести глаза Аркадию Ивановичу.

На крутых берегах реки Чагры намело за эти дни большие пушистые сугробы. В иных местах они свешивались мысами над речкой. Только стань на такой мыс-и он ухнет, сядет, и гора снега покатится вниз в облаке снежной пыли.

Направо речка вилась синеватой тенью между белых и пустынных полей. Налево, над самой кручей, чернели избы, торчали журавли деревни Сосновки. Синие высокие дымки поднимались над крышами и таяли. На снежном обрыве, где желтели пятна и полосы от золы, которую сегодня утром выгребли из печек, двигались маленькие фигурки. Это были Никитины приятели — мальчишки с «нашего конца» деревни. А дальше, где речка загибалась, едва виднелись другие мальчишки, «кончанские», очень опасные. Никита бросил лопату, опустил скамейку на снег, сел на нее верхом, крепко взялся за веревку, оттолкнулся ногами раза два, и скамейка сама пошла с горы. Ветер засвистал в ушах, поднялась с двух сторон снежная пыль. Вниз, все вниз, как стрела. И вдруг, там, где снег обрывался над кручей, скамейка пронеслась по воздуху и скользнула на лед. Пошла тише, тише и стала.

Никита засмеялся, слез со скамейки и потащил ее в гору, увязая по колено. Когда же он взобрался на берег, то недалеко, на снежном поле, увидел черную, выше человеческого роста, как показалось, фигуру

Аркадия Ивановича. Никита схватил лопату, бросился на скамейку, слетел вниз и побежал по льду к тому месту, где сугробы нависали мысом над речкой.

Взобравшись под самый мыс, Никита начал копать пещеру. Работа была легкая, — снег так и резался лопатой. Вырыв пещерку, Никита влез в нее, втащил скамейку и изнутри стал закладываться комьями. Когда стенка была заложена, в пещерке разлился голубой полусвет, — было уютно и приятно.

Никита сидел и думал, что ни у кого из мальчишек нет такой чудесной скамейки. Он вынул перочинный ножик и стал вырезать на верхней доске имя — «Вевит».

— Никита! Куда ты провалился? — услышал он голос Аркадия Ивановича.

Никита сунул ножик в карман и посмотрел в щель между комьями. Внизу, на льду, стоял, задрав голову, Аркадий Иванович.

— Где ты, разбойник?

Аркадий Иванович поправил очки и полез к пещерке, но сейчас же увяз по пояс.

— Вылезай, все равно я тебя оттуда вытащу.

Никита молчал, Аркадий Иванович попробовал лезть выше; но опять увяз, сунул руки в карманы и сказал:

— Не хочешь, не надо. Оставайся. Дело в том, что мама получила письмо из Самары... Впрочем, прощай, я ухожу...

— Какое письмо? — спросил Никита.

— Ага! Значит, ты все-таки здесь.

— Скажите, от кого письмо?

— Письмо насчет приезда одних людей на праздники.

Сверху сейчас же полетели комья снега. Из пещерки высунулась голова Никиты. Аркадий Иванович весело засмеялся.

ТАИНСТВЕННОЕ ПИСЬМО

За обедом матушка прочла, наконец, это письмо. Оно было от отца.

— «Милая Саша, я купил то, что мы с тобой решили подарить одному мальчику, который, по-моему, вряд ли заслуживает того, чтобы эту прекрасную вещь ему подарили. — При этих словах Аркадий Иванович страшно начал подмигивать. — Вещь эта довольно большая, поэтому пришли за ней лишнюю подводку. А вот и еще новость, — на праздники к нам собирается Анна Аполлосовна Бабкина с детьми...»

— Дальше не интересно, — сказала матушка и на все вопросы Никиты только закрывала глаза и качала головой:

— Ничего не знаю.

Аркадий Иванович тоже молчал, разводил руками: «Ничего не знаю». Да и вообще весь этот день Аркадий Иванович был чрезмерно весел, отвечал невпопад и нет-нет — да и вытаскивал из кармана какое-то письмецо, прочитывал строчки две из него и морщил губы. Очевидно, и у него была своя тайна.

В сумерки Никита побежал через двор к людской, откуда на лиловый снег падал свет двух замерзших окошек. В людской ужинали. Никита свистнул три раза. Через минуту появился его главный приятель, Мишка Коряшонок, в огромных валенках, без шапки, в накинутом полушубке. Здесь же, за углом людской, Никита шепотом рассказал ему про письмо и спрашивал, какую такую вещь должны привезти из города.

Мишка Коряшонок, постукивая зубами от холода, сказал:

— Непременно что-нибудь громадное, лопни мои глаза. Я побегу, холодно. Слушай-ка, — завтра на деревне кончанских ребят бить хотим. Пойдешь, а?

— Ладно.

Никита вернулся домой и сел читать «Всадника без головы».

За круглым столом под большой лампой сидели с книгами матушка и Аркадий Иванович. За большою печью — тр-тр, тр-тр — пилил деревяшечку сверчок. Потрескивала в соседней темной комнате половица.

Всадник без головы мчался по прерии, хлестала высокая трава, всходил красный месяц над озером. Никита чувствовал, как волосы у него шевелятся на затылке. Он осторожно обернулся — за черными окнами пронеслась какая-то сероватая тень. Честное слово, он ее видел. Матушка сказала, подняв голову от книги:

— Ветер поднялся к ночи, будет буря.

СОН

Никита увидел сон, — он снился ему уже несколько раз, все один и тот же.

Легко, неслышно отворяется дверь в зал. На паркете лежат голубоватые отражения окон. За черными окнами висит луна — большим светлым шаром. Никита влез на ломберный столик в простенке между окнами и видит:

Вот напротив, у белой, как мел, стены, качается круглый маятник в высоком футляре часов, качается, отсвечивает лунным светом. Над часами, на стене, в раме висит строгий старичок, с трубкой, сбоку от него — старушка, в чепце и шали, и смотрит, поджав губы. От часов до угла, вдоль стены, вытянули руки, присели, на четырех ногах каждое, широкие полосатые кресла. В углу расселся раскорякой низкий диван. Сидят они без лица, без глаз, выпучились на луну, не шевелятся.

Из-под дивана, из-под бахромы, вылезает кот. Потянулся, прыгнул на диван и пошел, черный и длинный. Идет, опустил хвост. С дивана прыгнул на кресла, пошел по креслам вдоль стены, пригибается, пролезает под ручками. Дошел до конца, спрыгнул на паркет и сел перед часами, спиной к окошкам. Маятник качается, старичок и старушка строго смотрят на кота. Тогда кот поднялся, одной лапой оперся о футляр и другой лапой старается остановить маятник. А стекла-то в футляре нет. Вот-вот достанет лапой.

Ох, закричать бы! Но Никита пальцем не может пошевелинуть, — не шевелится, — и страшно, страшно, — вот-вот будет беда. Лунный свет неподвижно лежит длинными квадратами на полу. Все в зале затихло, присело на ножках. А кот вытянулся, нагнул голову, прижал уши и достает лапой маятник. И Никита знает, — если тронет он лапой — маятник остановится, и в ту же секунду все треснет, расколется, зазвенит и, как пыль, исчезнет, не станет ни зала, ни лунного света.

От страха у Никиты звенят в голове острые стекляшечки, сыплется песок мурашками по всему телу... Собрав всю силу, с отчаянным криком Никита кинулся на пол! И пол вдруг ушел вниз. Никита сел. Оглядывается. В комнате — два морозные окна, сквозь стекла видна странная, больше обыкновенной, луна. На полу стоит горшок, валяются сапоги.

«Господи, слава тебе, господи!» — Никита наспех перекрестился и сунул голову под подушку. Подушка эта была теплая, мягкая, битком набита снами.

Ноне успел он зажмурить глаза, видит-опять стоит на столе в том же зале. В лунном свете качается маятник, строго смотрят старичок со старушкой. И опять из-под дивана вылезает голова кота. Но Никита уже протянул руки, оттолкнулся от стола и прыгнул и, быстро-быстро перебирая ногами, не то полетел, не то поплыл над полом. Необыкновенно приятно лететь по комнате. Когда же ноги стали касаться пола, он взмахнул руками и медленно поднялся к потолку и летел теперь неровным полетом вдоль стены. Ближе у самого носа был виден лепной карниз, на нем лежала пыль, серенькая и славная, и пахло уютно. Потом он увидел знакомую трещину в стене, похожую на Волгу на карте, потом — старинный и очень странный гвоздь с обрывочком веревочки, обсаженный мертвыми мухами.

Никита толкнулся ногой в стену и медленно полетел через комнату к часам. На верху футляра стояла бронзовая вазочка, и в вазочке, на дне, лежало что-то — не рассмотреть. И вдруг Никите точно сказали на ухо: «Возьми то, что там лежит».

Никита подлетел к часам и сунул было руку в вазочку. Но сейчас же из-за стены, из картины живо высунулась злая старушка и худыми руками схватила Никиту за голову. Он вырвался, а сзади из другой картины высунулся старичок, замахал длинной трубкой и так ловко ударил Никиту по спине, что тот полетел на пол, ахнул и открыл глаза.

Сквозь морозные узоры сияло, искрилось солнце. Около кровати стоял Аркадий Иванович, тряс Никиту за плечо и говорил:

— Вставай, вставай, девять часов.

Когда Никита, протирая глаза, сел на постели, Аркадий Иванович подмигнул несколько раз и шибко потер руки.

— Сегодня, братец ты мой, заниматься не будем.

— Почему?

— Потому, что потому оканчивается на у. Две недели можешь бегать, высуня язык. Вставай.

Никита вскочил из постели и заплясал на теплом полу:

— Рождественские каникулы! — Он совсем забыл, что с сегодняшнего дня начинаются счастливые и долгие две недели. Приплясывая перед Аркадием Ивановичем, Никита забыл и другое: именно — свой сон, вазочку на часах и голос, шепнувший на ухо: «Возьми то, что там лежит».

СТАРЫЙ ДОМ

На Никиту свалилось четырнадцать его собственных дней, — делай, что хочешь. Стало даже скучно немного.

За утренним чаем он устроил из чая, молока, хлеба и варенья тюрю и так наелся, что пришлось некоторое время посидеть молча. Глядя на свое отражение в самоваре, он долго удивлялся, какое у него длинное, во весь самовар, уродское лицо. Потом он стал думать, что если взять чайную ложку и сломать, то из одной части выйдет лодочка, а из другой можно сделать ковырялку, — что-нибудь ковырять.

Матушка, наконец, сказала: «Пошел бы ты гулять, Никита, в самом деле».

Никита не спеша оделся и, ведя вдоль штукатуренной стены пальцем, пошел по длинному коридору, где тепло и уютно пахло печами. Налево от этого коридора, на южной стороне дома, были расположены зимние комнаты, натопленные и жилые. Направо, с северной стороны, было пять летних, наполовину пустых комнат, с залом посредине. Здесь огромные изразцовые печи протапливались только раз в неделю, хрустальные люстры висели, окутанные марлей, на полу в зале лежала куча яблок, — гниловатый сладкий запах их наполнял всю летнюю половину.

Никита с трудом приоткрыл дубовую двустворчатую дверь и на цыпочках пошел по пустым комнатам. Сквозь полукруглые окна был виден сад, заваленный снегом. Деревья стояли неподвижно, опустив белые ветви, заросли сирени с двух сторон балконной лестницы пригнулись под снегом. На поляне синели заячьи следы. У самого окна на ветке сидела черная головастая ворона, похожая на черта. Никита постучал пальцем в стекло, ворона шарахнулась боком и полетела, сбивая крыльями снег с ветвей.

Никита дошел до крайней угловой комнаты. Здесь вдоль стен стояли покрытые пылью шкафы, сквозь их стекла поблескивали переплеты старинных книг. Над изразцовым очагом висел портрет дамы удивительной красоты. Она была в черной бархатной амазонке и рукою в перчатке с раструбом держала хлыст. Казалось, она шла и обернулась и глядит на Никиту с лукавой улыбкой пристальными длинными глазами.

Никита сел на диван и, подперев кулаками подбородок, рассматривал даму. Он мог так сидеть и глядеть на нее подолгу. Из-за нее, — он не раз это слышал от матери, — с его прадедом произошли большие беды. Портрет несчастного прадеда висел здесь же над книжным шкафом, —

тощий востроносый старичок с запавшими глазами; рукою в перстнях он придерживал на груди халат; сбоку лежали полуразвернутый папирус и гусиное перо. По всему видно, что очень несчастный старичок.

Матушка рассказывала, что прадед обыкновенно днем спал, а ночью читал и писал, — гулять ходил только в сумерки. По ночам вокруг дома бродили караульщики и трещали в трещотки, чтобы ночные птицы не летали под окнами, не пугали прадедушку. Сад в то время, говорят, зарос высокой густой травой. Дом, кроме этой комнаты, стоял заколоченный, необитаемый. Дворовые мужики разбежались. Дела прадеда были совсем плачевны.

Однажды его не нашли ни в кабинете, ни в доме, ни в саду, — искали целую неделю, так он и пропал. А спустя лет пять его наследник получил от него из Сибири загадочное письмо: «Искал покоя в мудрости, нашел забвение среди природы».

Причиною всех этих странных явлений была дама в амазонке. Никита глядел на нее с любопытством и волнением.

За окном опять появилась ворона, осыпая снег, села на ветку и принялась нырять головой, разевать клюв, каркала. Никите стало жутковато. Он выбрался из пустых комнат и побежал на двор.

У КОЛОДЦА

Посредине двора, у колодца, где снег вокруг был желтый, обледенелый и истоптанный, Никита нашел Мишку Коряшонка. Мишка сидел на краю колодца и макал в воду кончик голицы — кожаной рукавицы, надетой на руку.

Никита спросил, зачем он это делает. Мишка Коряшонок ответил:

— Все кончанские голицы макают, и мы теперь будем макать. Она зажохнет, — страсть ловко драться. Пойдешь на деревню-то?

— А когда?

— Вот пообедаем и пойдем. Матери ничего не говори.

— Мама отпустила, только не велела драться.

— Как не велела драться? А если на тебя наскочат? Знаешь, кто на тебя наскочит, — Степка Карнаушкин. Он тебе даст, ты — брык.

— Ну, со Степкой-то я справлюсь, — сказал Никита, — я его на один мизинец пушу. — И он показал Мишке палец.

Коряшонок посмотрел, сплюнул и сказал грубым голосом:

— У Степки Карнаушкина кулак заговоренный. На прошлой неделе он в село, в Утевку, ездил с отцом за солью, за рыбой, там ему кулак заговаривали, лопни глаза — не вру.

Никита задумался, — конечно, лучше бы совсем не ходить на деревню, но Мишка скажет — трус.

— А как же ему кулак заговаривали? — спросил он. Мишка опять сплюнул:

— Пустое дело. Перво-наперво возьми сажи и руки вымажи и три раза скажи: «Тани-бани, что под нами под железными столбами?» Вот тебе и все...

Никита с большим уважением глядел на Коряшонка. На дворе в это время со скрипом отворились ворота, и оттуда плотной серой кучей выбежали овцы, стучали копытцами, как костяшками, трясли хвостами, роняли орешки. У колодца овечье стадо сгрудилось. Блея и теснясь, овцы лезли к колоде, проламывали мордочками тонкий ледок, пили и кашляли. Баран, грязный и длинношерстый, уставился на Мишку белыми, пегими глазами, топнул ножкой, Мишка сказал ему: «Бездельник», — и баран бросился на него, но Мишка успел перескочить через колоду.

Никита и Мишка побежали по двору, смеясь и дразнясь. Баран погнался за ними, но подумал и заблеял:

— Саааами безде-е-е-ельники.

Когда Никиту с черного крыльца стали кричать — идти обедать, Мишка Коряшонок сказал:

— Смотри, не обмани, пойдем на деревню-то.

БИТВА

Никита и Мишка Коряшонок пошли на деревню через сад и пруд короткой дорогой. На пруду, где ветром сдуло снег со льда, Мишка на минутку задержался, вынул перочинный ножик и коробку спичек, присел и, шмыгая носом, стал долбить синий лед в том месте, где в нем был внутри белый пузырь. Эта штука называлась «кошкой», — со дна пруда поднимались болотные газы и вмерзали в лед пузырями. Продолбив лед, Мишка зажег спичку и поднес к скважине, «кошка» вспыхнула, и надо льдом поднялся желтоватый бесшумный язык пламени.

— Смотри, никому про это не говори, — сказал Мишка, — мы на той неделе на нижний пруд пойдем кошки поджигать, я там одну знаю — огромдающая, целый день будет гореть.

Мальчики побежали по пруду, пробрались через поваленные желтые камыши на тот берег и вошли в деревню.

В эту зиму нанесло большие снега. Там, где ветер продувал вольно между дворами, снега было немного, но между избами поперек улицы намело сугробов выше крыш.

Избенку бобыля, дурачка Савоськи, завалило совсем, одна труба торчала над снегом. Мишка сказал, что третьего дня Савоську всем миром выкапывали лопатами, а он, дурачок, как его завалило за ночь бураном, затопил печь, сварил пустых щей, поел и полез спать на печь. Так его сонного на печке и нашли, разбудили и оттащали за виски — за глупость.

На деревне было пусто и тихо, из труб кое-где курился дымок. Невысоко, над белой равниной, над занесенными ометами и крышами, светило мглистое солнце. Никита и Мишка дошли до избы Артамона Тюрина, страшного мужика, которого боялись все на деревне, — до того был силен и сердит, и в окошечке Никита увидел рыжую, как веник, бородищу Артамона, — он сидел у стола и хлебал из деревянной чашки. В другое окошечко, приплюснув к стеклу носы, глядели три конопатых мальчика, Артамоновы сыновья: Семка, Ленька и Артамошка-меньшой.

Мишка, подойдя к избе, свистнул, Артамон обернулся, жуя большим ртом, погрозил Мишке ложкой. Трое мальчишек исчезли и сейчас же появились на крыльце, подпоясывая кушаками полушубки.

— Эх, вы, — сказал Мишка, сдвигая шапку на ухо, — эх, вы — девчонки... Дома сидите, — забоялись.

— Ничего мы не боимся, — ответил один из конопатых, Семка.

— Тятка не велит валенки трепать, — сказал Ленька.

— Давеча я ходил, кричал кончанским, они не обижаются, — сказал Артамошка-меньшой.

Мишка двинул шапку на другое ухо, хмыкнул и проговорил решительно:

— Идем дражнить. Мы им покажем. Конопатые ответили: «ладно», и все вместе полезли на большой сугроб, лежавший поперек улицы, — отсюда за Артамоновой избой начинался другой конец деревни.

Никита думал, что на кончанской стороне кишмя-кишит мальчишками, но там было пусто и тихо, только две девочки, обмотанные платками, втащили на сугроб салазки, сели на них, протянув перед собой ноги в валенках, ухватились за веревку, завизжали и покатались через улицу мимо амбарушки и — дальше по крутому берегу на речной лед.

Мишка, а за ним конопатые мальчишки и Никита начали кричать с сугроба:

— Эй, кончанские!

— Вот мы вас!

— Попрятались, боятся!

— Выходите, мы вас побьем!

— Выходите на одну руку, эй, кончанские! — кричал Мишка, хлопая рукавицами.

На той стороне, на сугробе, появилось четверо кончанских. Похлопывая, поглаживая рукавицами по бокам, поправляя шапки, они тоже начали кричать:

— Очень вас боимся!

— Сейчас испугались!

— Лягушки, лягушата, ква-ква!

С этой стороны на сугроб влезли товарищи — Алешка, Нил, Ванька Черные Уши, Петрушка — бобылев племянник и еще совсем маленький мальчик с большим животом, закутанный крест-накрест в материнский платок. С той стороны тоже прибыло мальчишек пять-шесть. Они кричали:

— Эй, вы, конопатые, идите сюда, мы вам ототрем веснушки!

— Кузнецы косоглазые, мышь подковали! — кричал с этой стороны Мишка Коряшонок.

— Лягушки, лягушата!

Набралось с обеих сторон до сорока мальчишек. Но начинать — не начинали, было боязно. Кидались снегом, показывали носы. С той стороны кричали: «Лягушки, лягушата!», с этой: «Кузнецы косоглазые!» То и другое было обидно. Вдруг между кончанскими появился небольшого роста,

широкий курносый мальчик. Растолкал товарищей, с развалыцем спустился с сугроба, подбоченился и крикнул:

— Лягушата, выходи, один на один!

Это и был знаменитый Степка Карнаушкин с заговоренным кулаком.

Кончанские кидали кверху шапки, свистели пронзительно. На этой стороне мальчишки притихли. Никита оглянулся. Конопатые стояли насупясь. Алеша и Ванька Черные Уши подались назад, маленький мальчик в мамином платке таращил на Карнаушкина круглые глаза, готовился дать реву, Мишка Коряшонок ворчал, оттягивая кушак под живот:

— Не таких укладывал, тоже — невидаль. Начинать неохота, а торассержусь, я ему так дам — шапка на две сажени взовьется.

Степка Карнаушкин, видя, что никто не хочет с ним биться, махнул рукавицей своим:

— Вали, ребята!

И кончанские с криком и свистом посыпались с сугроба.

Конопатые дрогнули, за ними побежал Мишка, Ванька Черные Уши и, наконец, все мальчишки, побежал и Никита. Маленький в платке сел в снег и заревел.

Наши пробежали Артамонов двор и двор Черноухова и взобрались на сугроб. Никита оглянулся. Позади на снегу лежал Алешка, Нил и пять наших, кто упал, кто лег сам со страха, — лежачего бить было нельзя.

Никите стало, — хоть плачь, — обидно и стыдно: струсили, не приняли боя. Он остановился, сжал кулаки и сейчас же увидел бегущего на него Степку Карнаушкина, курносого, большеротого, с вихром из-под бараньей шапки.

Никита нагнул голову и, шагнув навстречу, изо всей силы ударил Степку в грудь. Степка мотнул головой, уронил, шапку и сел в снег.

— Эх, ты, — сказал он, — будя...

Кончанские сейчас же остановились. Никита пошел на них, и они подались. Перегоняя Никиту, с криком: «Наша берет!» — всею стеною кинулись на кончанских наши. Кончанские побежали. Их гнали дворов пять, покуда все они не легли.

Никита возвращался на свой конец, взволнованный, разгоряченный, поглядывая, с кем бы еще схватиться. Его окликнули. За амбарушкой стоял Степка Карнаушкин. Никита подошел, Степка глядел на него исподлобья.

— Ты здорово мне дал, — сказал он, — хочешь дружиться?

— Конечно, хочу, — поспешно ответил Никита. Мальчишки, улыбаясь, глядели друг на друга. Степка сказал:

— Давай поменяемся. — Давай.

Никита подумал, что бы отдать ему самое лучшее, и дал Степке перочинный ножик с четырьмя лезвиями. Степка сунул его в карман и вытащил оттуда свинчатку — бабку, налитую свинцом:

— На. Не потеряй, дорого стоит.

ЧЕМ ОКОНЧИЛСЯ СКУЧНЫЙ ВЕЧЕР

Вечером Никита рассматривал картинки в «Ниве» и читал объяснения к картинкам. Интересного было мало.

Вот нарисовано: стоит женщина на крыльце с голыми до локтя руками; в волосах у нее — цветы, на плече и у ног — голуби. Через забор скалит зубы какой-то человек с ружьем за плечами.

Самое скучное в этой картинке то, что никак нельзя понять-для чего она нарисована. В объяснении сказано:

«Кто из вас не видал домашних голубей, этих истинных друзей человека? (Далее про голубей Никита пропустил.) Кто поутру не любил бросать зернышки этим птицам? Талантливый немецкий художник, Ганс Вурст, изобразил один из таких моментов. Молодая Эльза, дочь пастора, вышла на крыльцо. Голуби увидели свою любимицу и радостно летят к ее ногам. Посмотрите — один сел на ее плечо, другие клюют из ее руки. Молодой сосед, охотник, любит украдкой на эту картину».

Никите представилось, что эта Эльза покормит, покормит голубей и делать ей больше нечего — скука. Отец ее, пастор, тоже где-нибудь в комнатке — сидит на стуле и зевает от скуки. А молодой сосед оскалился, точно у него живот болит, да так и пойдет, оскалась, по дорожке, и ружье у него не стреляет, конечно. Небо на картинке серое и свет солнца — серый.

Никита помуслил карандаш и нарисовал дочери пастора усы.

Следующая картинка изображала вид города Бузулука: верстовой столб и сломанное колесо у дороги, а вдалеке — дощатые домики, церковка и косой дождь из тучи.

Никита зевнул, закрыл «Ниву» и, подпершись, стал слушать.

Наверху, на чердаке, посвистывало, подвывало протяжно. Вот затянуло басом — «уууууууууууу», — тянет, хмурится, надув губы. Потом завитком перешло на тонкий, жалобный голос и засвистело в одну ноздрю, мучится до того уж тонко, как ниточка. И снова спустилось в бас и надуло губы.

Над круглым столом горит лампа под белым фарфоровым абажуром. Кто-то тяжело прошел за стеной по коридору, — должно быть, истопник, и под лампой нежно зазвенели хрусталики.

Матушка склонила голову над книгой, волосы у нее пепельные, тонкие и вьются на виске, где родинка, как просяное зерно. Время от времени матушка разрезывает листы вязальной спицей. Книжка — в кирпичной обложке. Таких книжек у отца в кабинете полон шкаф, все они называются

«Вестник Европы». Удивительно, почему взрослые любят все скучное: читать такую книжку — точно кирпич тереть.

На коленях у матушки, положив мокрый свиной носик на лапки, спит ручной еж — Ахилка. Когда люди лягут спать, он, выспавшись за день, пойдет всю ночь топотать по комнате, стучать когтями, похрюкивать, понюхивать по всем углам, заглядывать в мышинные норы.

Истопник за стеной застучал железной дверцей, и слышно было, как мешал печь. В комнате пахло теплой штукатуркой, вымытыми полами. Было скучновато, но уютно. А тот, на чердаке, старался, насвистывал: «юу-юу-юу-юу-юу».

— Мама, кто это свистит? — спросил Никита.

Матушка подняла брови, не отрываясь от книги. Аркадий же Иванович, линовавший тетрадку, немедленно, точно того только и ждал, проговорил скороговоркой:

— Когда мы говорим про неодушевленное, то нужно употреблять местоимение что.

«Буууууууууу», — гудело на чердаке. Матушка подняла голову, прислушиваясь, передернула плечами и потянула на них пуховый платок. Еж, проснувшись, задышал носом сердито.

Тогда Никите представилось, как на холодном темном чердаке нанесло снегу в слуховое оконце. Между огромных потолочных балок, засиженных голубями, валяются старые, продранные, с оголенными пружинами стулья, кресла и обломки диванов. На одном таком креслице, у печной трубы, сидит «Ветер»: мохнатый, весь в пыли, в паутине. Сидит смиренно и, подперев щеки, воет: «Скуууучно». Ночь долгая, на чердаке холодно, а он сидит один-одинешенек и воет.

Никита слез со стула и сел около матушки. Она, ласково улыбнувшись, привлекла Никиту и поцеловала в голову:

— Не пора ли тебе спать, мальчик?

— Нет, еще полчасика, пожалуйста.

Никита прислонился головой к матушкину плечу. В глубине комнаты, скрипнув дверью, появился кот Васька, — хвост кверху, весь вид — кроткий, добродетельный. Разинув розовый рот, он чуть слышно мяукнул. Аркадий Иванович спросил, не поднимая головы от тетрадки:

— По какому делу явился, Василий Васильевич? Васька, подойдя к матушке, глядел на нее зелеными, с узкой щелью, притворными глазами и мяукнул громче. Еж опять запыхтел. Никите показалось, что Васька что-то знает, о чем-то пришел сказать.

Ветер на чердаке завыл отчаянно. И в это время за окнами раздался

негромкий крик, скрип снега, говор голосов. Матушка быстро поднялась со стула. Ахилка, хрюкнув, покатился с колен.

Аркадий Иванович подбежал к окну и, глядяваясь, воскликнул:

— Приехали!

— Боже мой! — проговорила матушка взволнованно. — Неужели это Анна Аполлосовна?.. В такой буря...

Через несколько минут Никита, стоя в коридоре, увидел, как тяжело отворилась обитая войлоком дверь, влетел клуб морозного пара и появилась высокая и полная женщина в двух шубах и в платке, вся запорошенная снегом. Она держала за руку мальчика в сером пальто с блестящими пуговицами и в башлыке. За ними, стуча морозными валенками, вошел ямщик, с ледяной бородой, с желтыми сосульками вместо усов, с белыми мохнатыми ресницами. На руках у него лежала девочка в белой, мехом наверх, козьей шубке. Склонив голову на плечо ямщика, она лежала с закрытыми глазами, личико у нее было нежное и лукавое.

Войдя, высокая женщина воскликнула громким басом:

— Александра Леонтьевна, принимай гостей, — и, подняв руки, начала раскутывать платок. — Не подходи, не подходи, застужу. Ну и дороги у вас, должна я сказать — прескверные... У самого дома в какие-то кусты заехали.

Это была матушкина приятельница, Анна Аполлосовна Бабкина, живущая всегда в Самаре. Сын ее, Виктор, ожидая, когда с него снимут башлык, глядел исподлобья на Никиту. Матушка приняла у кучера спящую девочку, сняла с нее меховой капор, — из-под него сейчас же рассыпались светлые, золотистые волосы, — и поцеловала ее.

— Лилечка, приехали.

Девочка вздохнула, открыла синие большие глаза и вздохнула еще раз, просыпаясь.

ВИКТОР И ЛИЛЯ

Никита и Виктор Бабкин проснулись рано утром в Никитиной комнате и, сидя в постелях, насупясь глядели друг на друга.

— Я тебя помню, — сказал Никита.

— И я тебя отлично помню, — сейчас же ответил Виктор, — ты у нас в Самаре был один раз, ты еще тогда уткой с яблоками объелся, тебе касторки дали.

— Ну, этого что-то не помню.

— А я помню.

Мальчики помолчали. Виктор нарочно зевнул. Никита сказал пренебрежительно:

— У меня учитель, Аркадий Иванович, страшно строгий, задушил ученьем. Он какую угодно книжку может прочесть в полчаса.

Виктор усмехнулся.

— Я учусь в гимназии, во втором классе. Вот у нас так строго: меня постоянно без обеда оставляют.

— Ну, это что, — сказал Никита.

— Нет, это тебе не что. Хотя я могу тысячу дней ничего не есть.

— Эх, — сказал Никита. — Ты пробовал?

— Нет, еще не пробовал. Мама не позволяет. Никита зевнул, потянулся:

— А я, знаешь, третьего дня Степку Карнаушкина победил.

— Это кто Степка Карнаушкин?

— Первый силач. Я ему как дал, он — брык. Я ему ножик перочинный подарил с четырьмя лезвиями, а он мне — свинчатку, — я тебе потом покажу.

Никита вылез из постели и не спеша начал одеваться.

— А я одной рукой Макарова словарь поднимаю, — дрожащим от досады голосом проговорил Виктор, но было ясно, что он уже сдается. Никита подошел к изразцовой печи с лежанкой, не касаясь руками, вспрыгнул на лежанку, поджал ногу и спрыгнул на одной ноге на пол.

— Если быстро, быстро перебирать ногами, — можно летать, — сказал он, внимательно поглядев в глаза Виктору.

— Ну, это пустяки. У нас в классе многие летают. Мальчики оделись и пошли в столовую, где пахло горячим хлебом, сдобными лепешками, где от светло вычищенного самовара шел такой пар до потолка, что запотели

окна. У стола сидели матушка, Аркадий Иванович и вчерашняя девочка, лет девяти, сестра Виктора, Лиля. Из соседней комнаты было слышно, как Анна Аполлосовна гудела басом: «Дайте мне полотенце».

Лилия была одета в белое платье с голубой шелковой лентой, завязанной сзади в большой бант. В ее светлых и вьющихся волосах был второй бант, тоже голубой, в виде бабочки.

Никита, подойдя к ней, покраснел и шаркнул ногой. Лилия повернулась на стуле, протянула руку и сказала очень серьезно:

— Здравствуйте, мальчик.

Когда она говорила это, верхняя губа ее поднялась.

Никите показалось, что это не настоящая девочка, до того хорошенькая, в особенности глаза — синие и ярче ленты, а длинные ресницы — как шелковые. Лилия поздоровалась и, не обращая больше на Никиту внимания, взяла обеими руками большую чайную чашку и опустила туда лицо. Мальчики сели к столу рядом. Виктор, оказывается, пил чай, как маленький, согнувшись над чашкой, тянулся в нее длинными губами. Украдкой он подкладывал себе сахар до тех пор, пока в чашке стало густо, тогда томным голосом он попросил разбавить чай водичкой. Толкнув Никиту коленкой, он сказал шепотом:

— Тебе нравится моя сестра? Никита не ответил и залился румянцем.

— Ты с ней осторожнее, — прошептал Виктор, — девчонка постоянно матери жалуется.

Лилия в это время окончила пить чай, вытерла рот салфеточкой, не спеша слезла со стула и, подойдя к Александре Леонтьевне, проговорила вежливо и аккуратно:

— Благодарю вас, тетя Саша.

Потом пошла к окну, влезла с ногами в огромное коричневое кресло и, вытащив откуда-то из кармана коробочку с иглками и нитками, принялась шить. Никита видел теперь только большой бант ее в виде бабочки, два висящие локона и между нимидвигающийся кончик чуть-чуть высунутого языка, им Лилия помогает себе шить.

У Никиты были растеряны все мысли. Он начал было показывать Виктору, как можно перепрыгнуть через спинку стула, но Лилия не повернула головы, а матушка сказала:

— Дети, идите шуметь на двор.

Мальчики оделись и вышли на двор. День был мягкий и мглистый. Красноватое солнце невысоко висело над длинными, похожими на снеговые поля, слоистыми облаками. В саду стояли покрытые инеем розоватые деревья. Неясные тени на снегу были пропитаны тем же теплым

светом. Было необыкновенно тихо, только у черного крыльца две собаки, Шарок и Каток, стоя бок о бок и повернув головы, рычали друг на друга. Так они могли рычать, оскалась и захлебываясь, очень долго, покуда проходящий рабочий не бросит в них рукавицей, тогда они, кашляя от злобы, вставали на дыбки и дрались так, что летела шерсть. Других собак они боялись, ненавидели нищих и по ночам, вместо того чтобы караулить дом, спали под каретником.

— Что же мы будем делать? — спросил Виктор. Никита глядел на косматую недовольную ворону, летевшую от гумна на скотный двор. Ему не хотелось играть, и было, непонятно почему, грустно. Он предложил было пойти в гостиную на диван и почитать что-нибудь, но Виктор сказал:

— Эх ты, я вижу, тебе с девчонками только играть.

— Почему? — спросил Никита краснея.

— Да уж потому, сам знаешь, почему.

— Вот тоже пристал. Ничего я не знаю. Пойдем к колодцу.

Мальчики пошли к колодцу, куда из отворенных ворот выходили на водопой коровы. Вдалеке Мишка Коряшонок хлопал, как из ружья, огромным пастушьим кнутом и вдруг закричал:

— Баян, Баян, берегись, Никита!

Никита оглянулся. Отделившись от стада, к мальчикам шел Баян, розово-серый длинный бык с широким кудрявым лбом и короткими рогами.

«Му-у», — отрывисто замычал Баян и ударил хвостом себя по боку.

— Виктор, беги! — крикнул Никита и, схватив его за руку, побежал к дому.

Бык рысью тронулся за мальчиками. «Му-уу!» Виктор оглянулся, закричал, упал в снег и закрыл голову руками. Баян был шагах в пяти. Тогда Никита остановился, стало вдруг горячо от злобы, сорвал шапку, подбежал к быку и шапкой стал бить его по морде:

— Пошел, пошел!

Бык стал, опустил рога. Сбоку подбегал Мишка Коряшонок, щелкая кнутом. Тогда Баян замычал жалобно, повернулся и пошел назад к колодцу. У Никиты от волнения дрожали губы. Он надел шапку и обернулся. Виктор был уже около дома и оттуда махал ему рукой. Никита невольно поглядел на окно — третье слева от крыльца. В окне он увидел два синих удивленных глаза и над ними стоящий бабочкой голубой бант. Лиля, взобравшись на подоконник, глядела на Никиту и вдруг улыбнулась. Никита сейчас же отвернулся. Он больше не оглядывался на окошко. Ему стало весело, он крикнул:

— Виктор, идем с гор кататься, скорее!

Все время до обеда, катаясь с гор, хохоча и «бесясь», Никита краешком мыслей думал:

«Когда буду возвращаться домой и пройду мимо окна, — оглянуться на окно или не оглядываться? Нет, пройду, не оглянусь».

ЕЛОЧНАЯ КОРОБОЧКА

За обедом Никита старался не глядеть на Лилю, хотя, если бы и старался, все равно из этого ничего бы не вышло, потому что между ним и девочкой сидела Анна Аполлосовна в красной бархатной душегрейке и, размахивая руками, разговаривала таким громким и густым голосом, что звенели стеклашки под лампой.

— Нет и нет, Александра Леонтьевна, — гудела она, — учи сына дома. В гимназии такие безобразные беспорядки, что взяла бы директора своими руками да и выгнала за дверь... Виктор, — вдруг воскликнула она, — нечего тебе слушать, что мать говорит про взрослых, ты должен уважать начальство. А возьми-ка ты, Александра Леонтьевна, наших учителей, — олухи царя небесного. Один глупее другого. А учитель географии? Как его фамилия, Виктор?

— Синичкин.

— А я тебе говорю, что не Синичкин, а Синявкин. Так этот учитель до того глуп, что однажды в прихожей, уходя из гостей, взял вместо шапки кошку, которая спала на сундуке, и надел ее на голову... Виктор, как ты держишь вилку и нож?.. Не чавкай... Придвинься ближе к столу... Так вот, Александра Леонтьевна, что бишь я хотела сказать тебе?.. Да: привезла я целый чемодан разной дребедени для елки... Завтра надо заставить детей клеить.

— А по-моему, — сказала матушка, — надо начать клеить сегодня, иначе всего не успеем.

— Ну, делайте, как хотите. А я пойду письма писать. Спасибо, друг мой, за обед.

Анна Аполлосовна вытерла салфеткой губы, с шумом отодвинула стул и пошла в спальню с намерением писать письма, но через минуту в спальне так страшно затрещали пружины кровати, точно на нее повалился слон.

С большого стола в столовой убрали скатерть. Матушка принесла четыре пары ножниц и стала заваривать крахмал. Делалось это так: из углового шкафчика, где помещалась домашняя аптечка, матушка достала банку с крахмалом, насыпала его не больше чайной ложки в стакан, налила туда же ложки две холодной воды и начала размешивать, покуда из крахмала не получилась каша. Тогда матушка налила в кашу из самовара крутого кипятку, все время сильно мешая ложкой, крахмал стал прозрачный, как желе, получился отличный клей.

Мальчики принесли кожаный чемодан Анны Аполлосовны и поставили на стол. Матушка раскрыла его и начала вынимать: листы золотой бумаги, гладкой и с тиснением, листы серебряной, синей, зеленой и оранжевой бумаги, бристо́льский картон, коробочки со свечками, с елочными подсвечниками, с золотыми рыбками и петушками, коробку с дутыми стеклянными шариками, которые нанизывались на нитку, и коробку с шариками, у которых сверху была серебряная петелька, — с четырех сторон они были вдавлены и другого цвета, затем коробку с хлопушками, пучки золотой и серебряной канители, фонарики с цветными слюдяными окошечками и большую звезду. С каждой новой коробкой дети стонали от восторга.

— Там еще есть хорошие вещи, — сказала матушка, опуская руки в чемодан, — но их мы пока не будем разворачивать. А сейчас давайте клеить.

Виктор взялся клеить цепи, Никита — фунтики для конфет, матушка резала бумагу и картон. Лиля спросила вежливым голосом:

— Тетя Саша, вы позволите мне клеить коробочку?

— Клей, милая, что хочешь.

Дети начали работать молча, дыша носами, вытирая крахмальные руки об одежду. Матушка в это время рассказывала, как в давнишнее время елочных украшений не было и в помине и все приходилось делать самому. Были поэтому такие искусники, что клеили, — она сама это видела, — настоящий замок с башнями, с винтовыми лестницами и подъемными мостами. Перед замком было озеро из зеркала, окруженное мхом. По озеру плыли два лебедя, запряженные в золотую лодочку.

Лиля, слушая, работала тихо и молча, только помогала себе языком в трудные минуты. Никита оставил фунтики и глядел на нее. Матушка в это время вышла. Виктор развешивал аршин десять разноцветных цепей на стульях.

— Что вы клеите? — спросил Никита.

Лиля, не поднимая головы, улыбнулась, вырезала из золотой бумаги звездочку и наклеила ее на синюю крышечку.

— Вам для чего эта коробочка? — вполголоса спросил Никита.

— Это коробочка для кукольных перчаток, — ответила Лиля серьезно, — вы мальчик, вы этого не поймете. — Она подняла голову и поглядела на Никиту синими строгими глазами.

Он начал краснеть все гуще и жарче и, наконец, побагровел.

— Какой вы красный, — сказала Лиля, — как свекла. И она опять склонилась над коробочкой. Лицо ее стало лукавым. Никита сидел, точно

прилип к стулу. Он не знал, что теперь сказать, и он бы не мог ни за что уйти из комнаты. Девочка смеялась над ним, но он не обиделся и не рассердился, а только смотрел на нее. Вдруг Лиля, не поднимая глаз, спросила его другим голосом, так, точно теперь между ними была какая-то тайна и они об ней говорили:

— Вам нравится эта коробочка? Никита ответил:

— Да. Нравится.

— Мне она тоже очень нравится, — проговорила она и покачала головой, отчего закачались у нее и бант и локоны. Она хотела еще что-то прибавить, но в это время подошел Виктор и, просунув голову между Лилей и Никитой, проговорил скороговоркой:

— Какая коробочка, где коробочка?.. Ну, ерунда, обыкновенная коробочка. Я таких сколько угодно наделаю.

— Виктор, я, честное слово, пожалуйюсь маме, что ты мне мешаешь клеить, — проговорила Лиля дрожащим голосом. Взяла клей и бумагу и перенесла на другой конец стола.

Виктор подмигнул Никите.

— Я тебе говорил, с ней надо поосторожнее: ябеда. Поздно вечером Никита, лежа в темной комнате в постели, закрывшись с головой, спросил из-под одеяла глухим голосом:

— Виктор, ты спишь?

— Нет еще... Не знаю... А что?

— Слушай, Виктор... Я должен тебе сказать страшную тайну... Виктор... Да ты не спи... Виктор, слушай...

— Угу — фьюю, — ответил Виктор.

ТО, ЧТО БЫЛО ПРИВЕЗЕНО НА ОТДЕЛЬНОЙ ПОДВОДЕ

Еще на рассвете, сквозь сон, Никита слышал, как по дому мешали в печах и хлопала в конце дверь, — это истопник вносил вязанки дров и кизяку.

Никита проснулся от счастья. Утро было ясное и морозное.

Окна замерзли густым слоем лапчатых листьев. Виктор еще спал. Никита бросил в него подушкой, но тот, замычав, потянул на голову одеяло. От счастья Никита поскорее вылез из постели, оделся, подумал, — куда? — и побежал к Аркадию Ивановичу.

Аркадий Иванович только еще проснулся и, лежа, читал все то же самое, тридцать раз им читанное, письмо. Увидев Никиту, он поднял ноги вместе с одеялом, ударил ими по кровати и закричал:

— Необыкновенный случай! Встал раньше всех!

— Аркадий Иванович, какой день сегодня хороший.

— День, братец ты мой, замечательный.

— Аркадий Иванович, я вот что хотел спросить, — Никита поковырял пальцем притолоку, — вам очень нравятся Бабкины?

— Кто именно из Бабкиных?

— Дети.

— Так, так... А кто именно из детей желаешь ты, чтобы мне нравился?

Аркадий Иванович говорил это хотя обыкновенным голосом, но чересчур поспешно. Он облокотился о подушку и глядел на Никиту без улыбки, это правда, но чересчур внимательно. Он тоже, очевидно, что-то знал. Никита вдруг отвернулся, выбежал из комнаты, подумал и пошел на двор.

Над людской, над баней в овраге и дальше за белым полем надо всей деревней стояли столбами синие дымы. За ночь на деревьях еще гуще лег иней, и огромные осокори над прудом совсем свесили снежные ветви, отчетливо видные на сине-мерзлом небе. Снег сиял и хрустел. Щипало в носу, и слипались ресницы.

У крыльца на слегка дымившейся куче золы Шарок и Каток рычали друг на друга. Увязая в снегу, напрямик через двор к Никите шел Мишка Коряшонок с дубинкой, — собирался гонять котяши на льду. А на дороге в это время правее деревни появились воза. Один за другим они выползли из

овражка и плелись, низкие и темные на снегу, вдоль нижнего пруда к плотине.

Мишка Коряшонок, приставив большой палец рукавицы к носу, высморкался и сказал:

— Наш обоз пришел из города, гостинцы привезли. Воза шли теперь по плотине, под огромным сводом снежных ветел, и уже был слышен хруст снега, визжание полозьев и дыхание лошадей.

Первым въехал на двор во главе обоза, как всегда это бывало, старший рабочий Никифор на большой рыжей кобыле Весте. Никифор, коренастый старик, легко шел в мерзлых, обмотанных веревками валенках сбоку саней. Тулуп его был распахнут, поднятый бараний воротник, шапка, борода его и брови были в инее. Веста, потемневшая от пота, широко дышала боками и вся дымилась паром. На ходу Никифор обернулся и простуженным, крепким голосом крикнул задним возам:

— Эй, заворачивай к амбарам. Слухай! Последний воз к дому.

Всего в обозе было шестнадцать саней. Лошади шли бодро, сильно пахло конским потом, визжали полозья, хлопали кнуты, пар стоял над обозом.

Когда последний воз покинул плотину и приблизился, Никита не сразу разобрал, что на нем лежит. Это было большое, странной формы, зеленое, с длинной красной полосой. У Никиты забило сердце. На санях, с припряженными сзади вторыми салазками, лежала, скрипя и покачиваясь, двухвесельная крутоносая лодка. Сбоку лодки из саней торчали два зеленых весла и мачта с медной маковкой на конце.

Так вот что был за подарок, обещанный в таинственном письме.

ЕЛКА

В гостиную втащили большую мерзлую елку. Пахом долго стучал и тесал топором, прилаживая крест. Дерево, наконец, подняли, и оно оказалось так высоко, что нежно-зеленая верхушечка согнулась под потолком.

От ели веяло холодом, но понемногу слежавшиеся ветви ее оттаяли, поднялись, распушились, и по всему дому запахло хвоей. Дети принесли в гостиную вороха цепей и картонки с украшениями, подставили к елке стулья и стали ее убирать. Но скоро оказалось, что вещей мало. Пришлось опять сесть клеить фунтики, золотить орехи, привязывать к пряникам и крымским яблокам серебряные веревочки. За этой работой дети просидели весь вечер, покуда Лиля, опустив голову с измятым бантом на локоть, не заснула у стола.

Настал сочельник. Елку убрали, опутали золотой паутиной, повесили цепи и вставили свечи в цветные защипочки. Когда все было готово, матушка сказала:

— А теперь, дети, уходите, и до вечера в гостиную не заглядывать.

В этот день обедали поздно и наспех, — дети ели только сладкое шарлотку. В доме была суматоха. Мальчики слонялись по дому и ко всем приставали — скоро ли настанет вечер? Даже Аркадий Иванович, надевший черный долгополый сюртук и коробом стоявшую накрахмаленную рубашку, не знал, что ему делать, — ходил от окна к окну и посвистывал. Лиля ушла к матери.

Солнце страшно медленно ползло к земле, розовело, застилалось мглистыми облачками, длиннее становилась лиловая тень от колодца на снегу. Наконец матушка велела идти одеваться. Никита нашел у себя на постели синюю шелковую рубашку, вышитую елочкой по вороту, подолу и рукавам, витой поясок с кистями и бархатные шаровары. Никита оделся и побежал к матушке. Она пригладила ему гребнем волосы на пробор, взяла за плечи, внимательно поглядела в лицо и подвела к большому красного дерева трюмо.

В зеркале Никита увидел нарядного и благонаправного мальчика. Неужели это был он?

— Ах, Никита, Никита, — проговорила матушка, целуя его в голову, — если бы ты всегда был таким мальчиком.

Никита на цыпочках вышел в коридор и увидел важно идущую ему

навстречу девочку в белом. На ней было пышное платье с кисейными юбочками, большой белый бант в волосах, и шесть пышных локонов с боков ее лица, тоже сейчас неузнаваемого, спускались на худенькие плечи. Подойдя, Лиля с гримаской оглядела Никиту.

— Ты что думал — это привидение, — сказала она, — чего испугался? — и прошла в кабинет и села там с ногами на диван.

Никита тоже вошел за ней и сел на диван, на другой его конец. В комнате горела печь, потрескивали дрова, рассыпались угольками. Красноватым мигающим светом были освещены спинки кожаных кресел, угол золотой рамы на стене, голова Пушкина между шкафами.

Лиля сидела не двигаясь. Было чудесно, когда светом печи освещались ее щека и приподнятый носик. Появился Виктор в синем мундире со светлыми пуговицами и с галунным воротником, таким тесным, что трудно было разговаривать.

Виктор сел в кресло и тоже замолчал. Рядом, в гостиной, было слышно, как матушка и Анна Аполлосовна разворачивали какие-то свертки, что-то ставили на пол и переговаривались вполголоса. Виктор подкрался было к замочной щелке, но с той стороны щелка была заложена бумажкой.

Затем в коридоре хлопнула на блоке дверь, послышались голоса и много мелких шагов. Это пришли дети из деревни. Надо было бежать к ним, но Никита не мог пошевелиться. В окне на морозных узорах затеплился голубоватый свет. Лиля проговорила тоненьким голосом:

— Звезда взошла.

И в это время раскрылись двери в кабинет. Дети соскочили с дивана. В гостиной от пола до потолка сияла елка множеством, множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнувший хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками.

Дети стояли неподвижно, потрясенные. В гостиной раскрылись другие двери, и, теснясь к стенке, вошли деревенские мальчики и девочки. Все они были без валенок, в шерстяных чулках, в красных, розовых, желтых рубашках, в желтых, алых, белых платочках.

Тогда матушка заиграла на рояле польку. Играя, обернула к елке улыбающееся лицо и запела:

Журавлины долги ноги
Не нашли пути, дороги...

Никита протянул Лиле руку. Она дала ему руку и продолжала смотреть на свечи, в синих глазах ее, в каждом глазу горело по елочке. Дети стояли не двигаясь. Аркадий Иванович подбежал к толпе мальчиков и девочек, схватил за руки и галопом помчался с ними вокруг елки. Полы его сюртука развевались. Бегая, он прихватил еще двоих, потом Никиту, Лилю, Виктора, и, наконец, все дети закружились хороводом вокруг елки.

Уж я золото хороню, хороню,
Уж я серебро хороню, хороню...

запели деревенские.

Никита сорвал с елки хлопушку и разорвал ее, в ней оказался колпак со звездой. Сейчас же захлопали хлопушки, запахло хлопучечным порошком, зашуршали колпаки из папиросной бумаги.

Лиле достался бумажный фартук с карманчиками. Она надела его. Щеки ее разгорелись, как яблоки, губы были измазаны шоколадом. Она все время смеялась, посматривая на огромную куклу, сидящую под елкой на корзинке с кукольным приданым.

Там же под елкой лежали бумажные пакеты с подарками для мальчиков и девочек, завернутые в разноцветные платки. Виктор получил полк солдат с пушками и палатками. Никита — кожаное настоящее седло, уздечку и хлыст.

Теперь было слышно, как щелкали орехи, хрустела скорлупа под ногами, как дышали дети носами, развязывая пакеты с подарками.

Матушка опять заиграла на рояле, вокруг елки пошел хоровод с песнями, но свечи уже догорали, и Аркадий Иванович, подпрыгивая, тушил их. Елка тускнела. Матушка закрыла рояль и велела всем идти в столовую пить чай.

Но Аркадий Иванович и тут не успокоился, — устроил цепь и сам впереди, а за ним двадцать пять ребятишек, побежал обходом через коридор в столовую.

В прихожей Лиля оторвалась от цепи и остановилась, переводя дыхание и глядя на Никиту смеющимися глазами. Они стояли около вешалки с шубами. Лиля спросила:

— Ты чего смеешься?

— Это ты смеешься, — ответил Никита.

— А ты чего на меня смотришь?

Никита покраснел, но пододвинулся ближе и, сам не понимая, как это

вышло, нагнулся к Лиле и поцеловал ее. Она сейчас же ответила скороговоркой:

— Ты хороший мальчик, я тебе этого не говорила, чтобы никто не узнал, но это секрет. — Повернулась и убежала в столовую.

После чая Аркадий Иванович устроил игру в фанты, но дети устали, наелись и плохо соображали, что нужно делать. Наконец один совсем маленький мальчик, в рубашке горошком, задремал, свалился со стула и начал громко плакать.

Матушка сказала, что елка кончена. Дети пошли в коридор, где вдоль стены лежали их валенки и полушубки. Оделись и вывалились из дома всей гурьбой на мороз.

Никита пошел провожать детей до плотины. Когда он один возвращался домой, в небе высоко, в радужном бледном круге, горела луна. Деревья на плотине и в саду стояли огромные и белые и, казалось, выросли, вытянулись под лунным светом. Направо уходила в невероятную морозную мглу белая пустыня. Сбоку Никиты передвигала ногами длинная большеголовая тень.

Никите казалось, что он идет во сне, в заколдованном царстве. Только в зачарованном царстве бывает так странно и так счастливо на душе.

НЕУДАЧА ВИКТОРА

Виктор подружился в эти дни с Мишкой Коряшонком и ходил с ним на нижний пруд зажигать «кошки». Одну «кошку» они запалили такую, что огонь вылетел из льда выше человека. Затем на канаве, за прудом, они построили крепость — башню из снега и кругом нее стену с амбразурами и воротами. После этого Виктор написал кончанским письмо.

«Вы, кончанские, кузнецы косоглазые, мышь подковали, мы вас так отколотим, что будете помнить. Приходите, мы вас ожидаем в крепости. Комендант, гимназист второго класса Виктор Бабкин».

Письмо это прибили к палке, Мишка Коряшонок понес его на деревню и воткнул в сугроб у Артамоновой избы. Семка, Ленка и Артамошка-меньшой, Алешка, Ванька Черные Уши и Петрушка, бобылев племянник, влезли на сугроб около палки и долго грозились кончанским, кидали на их сторону котяши и потом пошли с Мишкой Коряшонком и сели с ним в крепость.

Виктор велел катать комья и шары. Все это разложили внутри крепости вдоль стен, воткнули на башне палку с пучком камыша и стали ждать.

Пришел Никита, осмотрел укрепление, заложил руки в карманы:

— Никто к вам не придет, крепость ваша никуда не годится, я с вами играть не буду, пойду домой.

— С девчонкой связался, — крикнул ему Виктор со стены, — кавалер!

Артамоновы сыновья громко засмеялись, Ванька Черные Уши засвистал в согнутый палец. Никита сказал:

— Была бы охота, я бы вас всех раскидал с вашей крепостью, рук не стоит марать, — показал Виктору язык и пошел через пруд к дому.

Вслед ему полетели комья снега, — он даже не обернулся.

В крепости ждали недолго: из-за занесенных ометов, со стороны деревни, показались кончанские. Они шли прямо на крепость, увязая по колено в снегу. Кончанских было человек пятнадцать.

Виктор стал говорить, что наколотит дров из кончанских, пошмыгивал покрасневшим от мороза носом. Глаза у него бегали. Кончанские подошли и расположились перед воротами крепости, иные сели на снег. Припелся с ними и маленький мальчик в мамкином платке. Кончанских привел Степка Карнаушкин. Оглядев крепость, он подошел к самой стене и сказал:

— Дайте нам этого мальчишку со светлыми пуговицами, мы ему уши

снегом натрем...

Виктор озабоченно шмыгнул. Мишка шепнул: «Кидай в него глыбой, кидай!» Виктор поднял ком снега, кинул и промахнулся. Карнаушкин отступил к своим. Кончанские вскочили и начали катать снег. Из крепости в них полетели комья. Артамоновы сыновья кидались очень ловко. Они сразу же сшибли с ног маленького мальчика в мамкином платке. Кончанские стали отвечать. Снежки полетели с обеих сторон тучей. На башне повалился шест со значком. Ванька Черные Уши упал со стены и сдался кончанским. Вдруг с Виктора сбили фуражку и другим комом ударили в лицо. Кончанские завывали, завизжали, засвистали, пошли на приступ...

Стена была проломлена, защитники крепости побежали через камыши по льду пруда.

ЧТО БЫЛО В ВАЗОЧКЕ НА СТЕННЫХ ЧАСАХ

Никита сам не понимал, почему ему скучно играть с мальчишками. Он вернулся домой, разделся и, проходя через комнаты, услышал, как Лиля говорила:

— Мамочка, дайте мне, пожалуйста, чистенькую тряпочку. У новой куклы, Валентины, разболелась нога, я беспокоюсь за ее здоровье.

Никита остановился и снова, как во все дни, почувствовал счастье. Оно было так велико, что казалось, будто где-то внутри у него вертится, играет нежно и весело музыкальный ящик.

Никита пошел в кабинет, сел на диван, на то место, где позавчера сидела Лиля, и, прищурившись, глядел на расписанные морозом стекла. Нежные и причудливые узоры эти были как из зачарованного царства, — оттуда, где играл неслышно волшебный ящик. Это были ветви, листья, деревья, какие-то странные фигуры зверей и людей. Глядя на узоры, Никита почувствовал, как слова какие-то сами собой складываются, поют, и от этого, от этих удивительных слов и пения, волосам у него стало щекотно на макушке.

Никита осторожно слез с дивана, отыскал на столе у отца четвертушку бумаги и большими буквами начал писать стихотворение:

Уж ты лес, ты мой лес,
Ты волшебный мой лес,
Полный птиц и зверей
И веселых дикарей...
Я люблю тебя, лес...
Так люблю тебя, лес...

Но дальше про лес писать было трудно. Никита грыз ручку, глядел в потолок. Да и написанные слова были не те, что сами напевались только что, просились на волю.

Никита перечел стихотворение. Оно все-таки ему нравилось. Он сложил бумажку в восемь раз, сунул ее в карман и пошел в столовую, где у окна шила Лиля. Рука его, державшая в кармане бумажку, вспотела, но он

так и не решился показать стишок.

В сумерки вернулся Виктор, посиневший от холода и с распухшим носом. Анна Аполлосовна всплеснула руками:

— Опять нос ему разбили! С кем ты дрался? Отвечай мне сию минуту.

— Ни с кем я не дрался, просто нос сам распух, — мрачно ответил Виктор, ушел к себе и лег на кровать.

К нему явился Никита и стал у печки. В зеленоватом небе зажглись, точно от укола иголкой, несколько звезд. Никита сказал:

— Хочешь, я тебе один стишок прочту, про лес? Виктор дернул плечом, положил ноги на спинку кровати:

— Ты этому Степке Карнаушкину так и скажи, — пусть он мне лучше не попадается.

— Знаешь, — сказал Никита, — в этих стихах лес один описывается. Этот лес такой, что его нельзя увидеть, но все про него знают... Если тебе грустно, прочти про этот лес, и все пройдет. Или, знаешь, бывает, во сне привидится что-то страшно хорошее, не поймешь что, но хорошее, — проснешься и никак не можешь вспомнить... Понимаешь?

— Нет, не понимаю, — ответил Виктор, — и стихов твоих не хочу слушать.

Никита вздохнул, постоял у печи и вышел. В большой прихожей, освещенной горячей печью, против печи, на сундуке, покрытом волчьим мехом, сидела Лиля и глядела, как пляшет огонь.

Никита сел рядом с ней на сундук. В прихожей пахло печным теплом, шубами и сладковато-грустным запахом старинных вещей из ящиков огромного комода.

— Давайте с вами разговаривать, — задумчиво проговорила Лиля, расскажите мне что-нибудь интересное.

— Хотите, я расскажу, какой я недавно сон видел?

— Да, про сон расскажите, пожалуйста.

Никита начал рассказывать сон про кота, про ожившие портреты и про то, как он летал и что видел, летая под потолком. Лиля внимательно слушала, держа на коленях куклу, у которой был сделан компресс.

Когда он кончил рассказывать, она повернулась к нему, глаза ее были раскрыты от страха и любопытства. Она спросила шепотом:

— Что же было в вазочке?

— Не знаю.

— Наверное, там было что-нибудь интересное.

— Но ведь это я во сне видел.

— Ах, все равно, — надо было посмотреть. Вы — мальчик, вы ничего

не понимаете. Скажите, а такая вазочка у вас есть на самом деле?

— Часы у нас есть на самом деле, а вазочку я не помню. Часы в кабинете у дедушки стоят, сломанные.

— Пойдемте посмотрим.

— Там темно.

— Мы фонарик с елки возьмем. Принесите фонарик, ну, пожалуйста.

Никита побежал в гостиную, снял с елки фонарик со слюдяными цветными окошечками, зажег его и вернулся в прихожую.

Лиля накинула на себя большой пуховый платок. Дети, крадучись, вышли в коридор и прошмыгнули на летнюю половину. В темном высоком зале густым инеем были запущены окна, на них от лунного света лежали тени ветвей. Было холодновато, пахло гнилыми яблоками. Дубовые половинки дверей в соседнюю темную комнату были приотворены.

— Часы там? — спросила Лиля.

— Еще дальше, в третьей комнате.

— Никита, вы ничего не боитесь?

Никита потянул дверь, она жалобно заскрипела, и звук этот гулко раздался в пустых комнатах. Лиля схватила Никиту за руку. Фонарик задрожал, и красные и синие лучи его полетели по стенам.

На цыпочках дети вошли в соседнюю комнату. Здесь лунный свет сквозь окна лежал голубоватыми квадратами на паркете. У стены стояли полосатые кресла, в углу — диван раскорякой. У Никиты закружилась голова, — точно такую он уже видел однажды эту комнату.

— Они смотрят, — прошептала Лиля, показывая на два темные портрета на стене — на старичка и старушку.

Дети перебежали комнату и открыли вторую дверь. Кабинет был залит ярким лунным светом. Поблескивали стеклянные дверцы шкафов и золото на переплетах. Над очагом, вся в свету, глядела на вошедших дама в амазонке, улыбаясь таинственно.

— Кто это? — спросила Лиля, придвигаясь к Никите. Он ответил шепотом:

— Это она.

Лиля кивнула головой и вдруг, оглядываясь, вскрикнула:

— Вазочка, смотрите же, Никита, вазочка!

Действительно, — в глубине кабинета, на верху старинных, красного дерева, часов с неподвижным диском маятника стояла между двух деревянных завитушек бронзовая вазочка со львиной мордой. Никита никогда ее почему-то не замечал, а сейчас узнал: это была вазочка из его сна.

Он подставил стул к часам, вскочил на него, поднялся на цыпочки, засунул палец в вазочку и на дне ее ощупал пыль и что-то твердое.

— Нашел! — воскликнул он, зажимая это в кулаке, и спрыгнул на пол.

В это время из-за шкафа фыркнуло на него, — блеснули лиловые глаза, выскочил кот, Василий Васильевич, ловивший мышей в библиотеке.

Лиля замахала руками, пустилась бежать, за ней побежал Никита, — точно чья-то рука касалась его волос, так было страшно. Перегоняя детей, по лунным квадратам неслышно пронесся Василий Васильевич, опустив хвост.

Дети вбежали в прихожую, сели на сундук у огня, едва переводили дыхание со страха. У Лили горели щеки. Глядя Никите прямо в глаза, она сказала:

— Ну?

Тогда он разжал пальцы. На ладони его лежало тоненькое колечко с синеньким камешком. Лиля молча всплеснула руками.

— Колечко!

— Это волшебное, — сказал Никита.

— Слушайте, что мы с ним будем делать?

Никита, нахмурившись, взял ее руку и стал надевать ей колечко на указательный палец. Лиля сказала:

— Нет, почему же мне, — посмотрела на камешек, улыбнулась, вздохнула и, обхватив Никиту за шею, поцеловала его.

Никита так покраснел, что пришлось отойти от печки. Собрав все присутствие духа, он проговорил:

— Это тоже вам, — вытащил из кармана смятую, сложенную в восемь раз бумажку, где были написаны стихи про лес, и подал ее Лиле.

Она развернула, стала читать, шевеля губами, и потом сказала задумчиво:

— Благодарю вас, Никита, эти стихи мне очень нравятся.

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР

За вечерним чаем матушка несколько раз переглядывалась с Анной Аполлосовной и пожимала плечами. Аркадий Иванович с ничего не выражающим лицом сидел, уткнувшись в свой стакан, так, будто режете его, — он все равно не скажет ни слова. Анна Аполлосовна, окончив пятую чашку со сливками и горячими сдобными лепешками, очистила от чашек, тарелок и крошек место перед собою, положила на скатерть большую руку, ладонью вниз, и сказала густым голосом:

— Нет, и нет, и нет, мать моя, Александра Леонтьевна. Я сказала, значит, ножом отрезано; хорошенького понемножку. Вот что, дети, — она повернулась и ткнула указательным пальцем Виктора в спину, чтобы он не горбился, — завтра понедельник, вы это, конечно, забыли. Кончайте пить чай и немедленно идите спать. Завтра чуть свет мы уезжаем.

Виктор молча вытянул губы дальше своего носа. Лиля быстро опустила глаза и стала нагибаться над чашкой. У Никиты сразу застлало глаза, пошли лучи от язычка лампы. Он отвернулся и стал глядеть на Василия Васильевича.

Кот сидел на чисто вымытом полу, выставил заднюю ногу пистолетом и вылизывал ее, щуря глаза. Коту было не скучно и не весело, торопиться некуда, — «завтра, — думал он, — у вас, у людей, — будни, начнете опять решать арифметические задачи и писать диктант, а я, кот, праздников не праздновал, стихов не писал, с девочкой не целовался, — мне и завтра будет хорошо».

Виктор и Лия кончили пить чай. Взглянув на густые, начавшие уже пошевеливаться брови матери, простились и вместе с Никитой пошли из столовой. Анна Аполлосовна крикнула вдогонку:

— Виктор!

— Что, мама?

— Как ты идешь!

— А что?

— Ты идешь, как на резинке тащишься. Уходи бодро. Не колеси по комнате, дверь — вот она. Выпрямись... На что ты будешь годен в жизни, не понимаю!

Дети ушли. В теплой и полутемной прихожей, где мальчикам нужно было поворачивать направо, Никита остановился перед Лилей и, покусывая губы, сказал:

— Вы летом к нам приедете?

— Это зависит от моей мамы, — тоненьким голосом ответила Лиля, не поднимая глаз.

— Будете мне писать?

— Да, я вам буду писать письма, Никита.

— Ну, прощайте.

— Прощайте, Никита.

Лилия кивнула бантом, подала руку, кончики пальцев, и пошла к себе, не оборачиваясь; пряменькая, аккуратная. Ничего нельзя было понять, глядя ей вслед. «Очень, очень сдержанный характер», — как говорила про нее Анна Аполлосовна.

Покуда Виктор ворчал, укладывая в корзинку книжки и игрушки, отклеивал и прятал в коробочку какие-то картиночки, лазил под стол, разыскивая перочинный ножик, — Никита не сказал ни слова; быстро разделся, закрылся с головой одеялом и притворился, что засыпает.

Ему казалось, что всему на свете — конец. В опускающейся на глаза дремоте в последний раз появился, как тень на стене, огромный бант, которого он теперь не забудет во всю жизнь. Сквозь сон он слышал какие-то голоса, кто-то подходил к его постели, затем голоса отдалились. Он увидел теплые лапчатые листья, большие деревья, красноватую дорожку сквозь густую, легко расступающуюся перед ним заросль. Было удивительно сладко в этом красноватом от света, странном лесу, и хотелось плакать от чего-то небывало грустного. Вдруг голова краснокожего дикаря в золотых очках высунулась из лопухов. «А, ты все еще спишь», — крикнула она громовым голосом.

Никита раскрыл глаза. На лицо его падал горячий утренний свет. Перед кроватью стоял Аркадий Иванович и похлопывал себя по кончику носа карандашом.

— Вставай, вставай, разбойник.

РАЗЛУКА

В январе отец Никиты, Василий Никитьевич, прислал письмо.

«...Я в отчаянии, что дело о наследстве задерживает меня еще надолго, милая Саша, — выясняется, что мне придется поехать в Москву хлопотать. Во всяком случае, великим постом я буду с вами...»

Матушка сильно загрустила над письмом и вечером, показывая его Аркадию Ивановичу, говорила:

— Бог с ним, с этим наследством, если из-за него столько неприятностей; всю зиму живем в разлуке. Вот мне даже кажется, что Никита уже начал забывать отца.

Она отвернулась и стала глядеть в черное замерзшее окно. За ним была глухая ночь, такая морозная, что в саду трескали деревья и громко, так, что все вздрагивало, трескались балки на чердаке, а поутру на снегу находили мертвых воробьев. Матушка легонько вытерла глаза платком.

— Да, разлука, разлука, — проговорил Аркадий Иванович и задумался, должно быть, о своей собственной разлуке, — его рука потянулась в карман за письмом.

Никита в это время рисовал географическую карту Южной Америки, сегодня с матушкой было долгое объяснение, она волновалась и доказывала ему, что за праздники он обленился и опустил, готовит из себя, очевидно, волостного писаря или телеграфиста на станции Безенчук. «Вечером вместо глупых картинок, — сказала она, — будешь у меня рисовать Южную Америку».

Никита рисовал Америку и думал, — неужели он забыл отца? Нет. На месте реки Амазонки, там, где скрестились долгота и широта, он видел краснощекое, с блестящими глазами и блестящими зубами, веселое лицо отца — темная борода на две стороны, громкий похохатывающий голос. Можно было часами глядеть ему в рот, помирая со смеха, когда он рассказывает. Матушка частенько упрекала его в беспечности и легкомыслии, но это происходило от его слишком живого характера. Вдруг, например, отцу придет мысль, что лягушки, которыми были полны все три усадебные пруда, пропадают даром, и он целыми вечерами говорит о том, как их нужно откармливать, выращивать, холить и в бочках отсылать в Париж. «Вот ты смеешься, — говорил он матушке, смеявшейся до слез над этими рассказами, — а вот увидишь, что я разбогатею на лягушках». Отец велел городить в пруду садки, варил месиво для прикорму и приносил

пробных лягушек домой, покуда матушка не заявила, что либо она, либо лягушки, которых она боится до смерти, и что ей противно жить, когда этой гадости полон дом. Однажды отец поехал в город и прислал оттуда с обозом старые дубовые двери и оконные рамы и письмо: «Милая Саша, случайно мне удалось очень выгодно купить партию рам и дверей. Это тем более кстати, что, помнишь, ты мечтала построить павильон на тополевой горке. Я уже говорил с архитектором, он советует павильон строить зимний, чтобы жить в нем и зимой. Я заранее в восторге, ведь наш дом стоит в такой колдобине, что из окон — никакого виду». Матушка только расплакалась; за эти три месяца не заплачено до сих пор жалованья Аркадию Ивановичу, и вдруг новые расходы... От постройки павильона она отказалась наотрез, и рамы и двери так и остались гнить в сарае. Или вдруг на отца нападет горячка — улучшать сельское хозяйство, — тоже беда: выписываются из Америки машины, он сам привозит их со станции, сердится, учит рабочих, как нужно управлять, на всех кричит: «Черти окайнные, осторожнее!»

По прошествии небольшого времени матушка спрашивает отца:

— Ну, что твоя необыкновенная сноповязалка?

— А что? — отец барабанит в окно пальцами. — Великолепная машина.

— Я видела, — она стоит в сарае.

Отец дергает плечом, быстро разглаживает бороду на две стороны. Матушка спрашивает кротко:

— Она уже сломана?

— Эти болваны американцы, — фыркнув, говорит отец, — выдумывают машины, которые ежеминутно ломаются. Я тут ни при чем.

Рисуя реку Амазонку с притоками, Никита с любовью и нежным весельем думал об отце. Совесть его была спокойна, — матушка напрасно сказала, что он его забыл.

Вдруг в стене треснуло, как из пистолета. Матушка громко ахнула, уронила на пол вязанье. Под комодом хрюкнул и задышал со злости еж Ахилка. Никита посмотрел на Аркадия Ивановича, который притворялся, что читает, на самом деле глаза его были закрыты, хотя он не спал. Никите стало жалко Аркадия Ивановича: бедняк, все думает о своей невесте, Вассе Ниловне, городской учительнице. Вот она, разлука-то!

Никита подпер щеку кулаком и стал думать теперь о своей разлуке. На этом месте у стола сидела Лиля, и сейчас ее нет. Какая грусть, — была, и нет. А вот — пятно на столе, где она пролила гуммиарабик. А на этой стене была когда-то тень от ее банта. «Пролетели счастливые дни». У Никиты

защипало в горле от этих необыкновенно грустных, сейчас им выдуманных слов. Чтобы не забыть их, он записал внизу под Америкой: «Пролетели счастливые дни» — и, продолжая рисовать, повел реку Амазонку совсем уже не в ту сторону, — через Парагвай и Уругвай к Огненной Земле.

— Александра Леонтьевна, я думаю, вы правы: этот мальчик готовит себя в телеграфисты на станцию Безенчук, — спокойным голосом, от которого полезли мурашки, проговорил Аркадий Иванович, уже давно смотревший, что выделяет с картой Никита.

БУДНИ

Морозы становились все крепче. Ледяными ветрами осыпало иней с деревьев. Снега покрылись твердым настом, по которому иззябшие и голодные волки, в одиночку и по двое, подходили по ночам к самой усадьбе.

Чужая волчий дух, Шарок и Каток от тоски начинали скулить, подвывать, лезли под каретник и выли оттуда тонкими, тошными голосами — у-у-у-у-у...

Волки переходили пруд и стояли в камышах, нюхая жилой запах усадьбы. Осмелев, пробирались по саду, садились на снежной поляне перед домом и, глядя светящимися глазами на темные замерзшие окна, поднимали морды в ледяную темноту и сначала низко, будто ворча, потом все громче, забирая голодной глоткой все выше, начинали выть, не переводя духу, — выше, выше, пронзительнее...

От этих волчьих воплей Шарок и Каток зарывались мордой в солому, лежали без чувств под каретником. На людской плотник Пахом ворочался на печи под овчинным тулупом и бормотал спросонок:

— О господи, господи, грехи наши тяжкие.

В доме были будни. Вставали все очень рано, когда за синевато-черными окнами проступали и разливались пунцовые полосы утренней зари и пушистые стекла светлели понемногу, синели вверху.

В доме стучали печными дверцами. На кухне еще горела керосиновая жестяная лампа. Пахло самоваром и теплым хлебом. За утренним чаем не засиживались. Матушка очищала в столовой стол и ставила швейную машину. Приходила домашняя швея, выписанная из села Пестравки, — кривобокенькая, рябенькая Соня, с выщербленным от постоянного перегрызания нитки передним зубом, и шила вместе с матушкой тоже какие-то будничные вещи. Разговаривали за шитьем вполголоса, с треском рвали коленкор. Швея Софья была такая скучная девица, словно несколько лет валялась за шкафом, — ее нашли, почистили немного и посадили шить.

Аркадий Иванович за эти дни приналег на занятия и сделал, — как он любил выражаться, — скачок: начал проходить алгебру — предмет в высшей степени сухой.

Уча арифметику, по крайней мере можно было думать о разных бесполезных, но забавных вещах: о заржавленных, сдохлыми мышами бассейнах, в которые втекают три трубы, о каком-то, в клеенчатом сюртуке,

с длинным носом, вечным «некто», смешавшем три сорта кофе или купившем столько-то золотников меди, или все о том же несчастном купце с двумя кусками сукна. Но в алгебре не за что было зацепиться, в ней ничего не было живого, только переплет ее пахнул столярным клеем, да, когда Аркадий Иванович объяснял ее правила, наклоняясь над стулом Никиты, в чернильнице отражалось его лицо, круглое, как кувшин.

Рассказывая по истории, Аркадий Иванович вставал спиною к печке. На белых изразцах его черный сюртук, рыжая борода и золотые очки были чудо как хороши. Рассказывая, как Пипин Короткий в Суассоне разрубил кружку, Аркадий Иванович с размаху резал воздух ладонью.

— Ты должен себе усвоить, — говорил он Никите, — что такие люди, как Пипин Короткий, отличались непоколебимой волей и мужественным характером. Они не отлынивали, как некоторые, от работы, не таращили поминутно глаз на чернильницу, на которой ничего не написано, они даже не знали таких постыдных слов, как «я не могу» или «я устал». Они никогда не крутили себе на лбу вихра, вместо того чтобы усваивать алгебру. Поэтому вот, — он поднимал книгу с засунутым в середину ее пальцем, — до сих пор они служат нам примером...

После обеда обычно матушка говорила Аркадию Ивановичу:

— Если сегодня опять двадцать градусов — Никита гулять не пойдет.

Аркадий Иванович подходил к окну и дышал на стекло в том месте, где снаружи был привинчен градусник.

— Двадцать один с половиной, Александра Леонтьевна.

— Ну, вот, я так и знала, — говорила матушка, — поди, Никита, займись чем-нибудь.

Никита шел к отцу в кабинет, залезал на кожаный диван, поближе к печке, и раскрывал волшебную книгу Фенимора Купера.

В теплом кабинете было так тихо, что в ушах начинался едва слышный звон. Какие необыкновенные истории можно было выдумывать в одиночестве, на диване, под этот звон. Сквозь замерзшие стекла лился белый свет. Никита читал Купера; потом, насупившись, подолгу, без начала и конца, представлял себе зеленые, шумящие под ветром травяными волнами, широкие прерии; пегих мустангов, ржущих на всем скаку, обернув веселую морду; темные ущелья Кордильеров; седой водопад и над ним — предводителя гуронов — индейца, убранного перьями, с длинным ружьем, неподвижно стоящего на вершине скалы, похожей на сахарную голову. В лесной чащобе, в корнях гигантского дерева, на камне сидит он сам — Никита, подперев кулаком щеку. У ног дымится костер. В чащобе этой так тихо, что слышно, как позванивает в ушах. Никита здесь в поисках

Лили, похищенной коварно. Он совершил много подвигов, много раз увозил Лилю на бешеном мустанге, карабкался по ущельям, ловким выстрелом сбивал с сахарной головы предводителя гуронов, и тот каждый раз снова стоял на том же месте; Никита похищал и спасал и никак не мог окончить спасать и похищать Лилю.

Когда мороз и матушка позволяли высовывать нос из дома, Никита уходил бродить по двору один. Прежние игры с Мишкой Коряшонком надоели ему, да и Мишка теперь сидел больше на людской, играл в карты — в носы или в хлюст, когда проигравшего таскали за волосы.

Никита подходил к колодцу и вспоминал: вот отсюда он увидел в окне дома единственный на свете голубой бант. Окно сейчас пусто. А вот у каретника Шарок и Каток раскопали под снегом дохлую галку, — это была та самая галка: присев около нее, Лиля говорила: «Как мне жалко, Никита, посмотрите — мертвая птичка». Никита отнял галку у собак, отнес за погребницу и закопал в сугробе.

Проходя по плотине, Никита вспомнил, как он шел здесь ночью, после елки, под огромными, прозрачными в лунном свете ветлами, и сбоку скользила его тень. Почему тогда он так мало дорожил тем, что с ним случилось? Надо было бы тогда внимательно, закрыв глаза, почувствовать, — какое было счастье. А сейчас: колющий ветер шумит в мерзлых, черных ветлах, на пруду совсем замело ледяную горку, с нее он и Лиля скатились тогда на салазках, Лиля молчала, зажмурилась, крепко вцепилась в бочки салазок. Все следы замело снегом.

Никита уходил по хорошо державшему насту за двор, туда, где с севера намело сугробы вровень с соломенными крышами. Отсюда было видно все ровное белое поле, — пустыня, сливающаяся морозной мглой с небом. Тянуло, как дымком, поземкой. Отдувало полу бараньего полушубка. С гребня сугроба порошило снегом. Никита и сам не знал, почему хочется ему стоять и глядеть на эту пустыню.

Матушка стала замечать, что Никита ходит скучный, и говорила об этом с Аркадием Ивановичем. Решено было отменить занятия по алгебре, пораньше отсылать Никиту спать и «закатить ему», как очень неумно выразился Аркадий Иванович, — касторки.

Все эти меры были приняты. По наблюдению Аркадия Ивановича, Никита повеселел. Но настоящий целитель пришел через три недели: сильный сырой ветер, с с юга, закутавший поля, сад и усадьбу серой мглой, с бешено несущимися над самой землей рваными облаками.

ГРАЧИ

В воскресенье на людской играли в карты рабочий Василий, Мишка Коряшонок, Лекся-подпасок и Артем — огромного роста сутулый мужик с длинным кривым носом. Он был бобыль, безлошадный, весь век в батраках, и все хотел жениться, а девки за него не шли. На днях от стал приглядываться к Дуняше, румяной красивой девушке, смотревшей за молочным хозяйством. Она целый день летала со скотного двора на погребицу, на кухню, гремела узкими цинковыми ведрами, от нее всегда хорошо пахло парным молоком, и когда шел снег, то казалось, — на щеках у нее шипели снежинки. Девушка она была смешливая. Артем, где бы он ни был, — вез ли с гумна мякину, или чистил овцам ясли, завидев Дуняшу, втыкал вилы и шел к ней, вышагивая на длинных ногах, как верблюд. Подойдя к Дуняше, снимал шапку и кланялся:

— Здравствуй, Дуня.

— Здравствуй. — Дуняша ставила ведра, закрывала фартуком рот.

— Все насчет молока бегаешь, Дуня?

Тогда Дуняша приседала, — сил не было, смешно, — подхватывала ведра и по обледенелой тропке в снегу летела на погребицу, бухала ведра на пол, говорила скороговоркой ключнице Василисе: «Верблюд опять просит, чтобы за него замуж идти, вот, матушки мои, умру!» — и так звонко смеялась, — по всему двору было слышно.

Никита пришел на людскую. Сегодня варили похлебку из бараньих голов, хорошо пахло бараниной и печеным хлебом. У дверей, где над шайкой висел глиняный рукомойник с носиком, натопали с улицы сырого снега. У печи на лавке сидел Пахом, черные волосы его падали на рябой лоб, на сердитые брови. Он подшивал голенище: осторожно шилом протыкал кожу, отнеся голову, щурился, нацеливался свиной щетинкой на конце дратвы, протыкал и, зажав голенище между колен, тянул дратву за два конца. На Никиту он покосился из-под бровей, — очень был сердит: сегодня поругался со стряпухой, — она повесила сушить и прожгла его портянки.

У стола сидели игроки в чистых, по воскресному делу, рубашках, с расчесанными маслом волосами. Один Артем был в дырявом армяке и нечесаный: некому за ним было присмотреть, простирать рубашки. Игроки сильно щелкали липкими, пахучими картами, приговаривая:

— Замирил, да под тебя — десять.

— Замирил, да под тебя еще полсотни.

— А вот это видел?

— А ты это видел?

— Хлюст.

— Эх!

— Ну, Артем, держись!

— Как так я держись? — говорил Артем, удивленно глядя в карты.

Неправильно, ошибка.

— Подставляй нос.

Артем брал в каждую руку по карте и закрывал ими глаза.

Василий, рабочий, тремя картами начинал бить с оттяжкой по Артемину длинному носу. Остальные игроки глядели, считали носы, сердито кричали на Артема, чтобы он не ворочался.

Никита сел играть и сейчас же проиграл, — ему всыпали пятнадцать носов. В это время Пахом, положив голенище и сапожный инструмент под лавку, сказал сурово:

— Иные бы уж от обедни вернулись, а эти, — лба не перекрестили, — в карты. Только и глядят скоромное жрать... Степанида, — закричал он, поднимаясь и идя к рукомойнику, — собирай обедать!

На кухне Степанида, стряпуха, с испугу уронила крышку с чугуна. Рабочие собрали карты. Василий, повернувшись в угол, к бумажной, в тараканьих следах, иконке, стал креститься.

Степанида внесла деревянную чашку с бараньими черепами; от них, застывая отвороченное лицо стряпухи, валил пахучий пар. Рабочие молча и серьезно селя к столу, разобрали ложки. Василий начал резать хлеб длинными ломтями, раздавал каждому по ломтю, потом стукнул по чашке, и началась еда. Вкусна была похлебка из бараньих голов.

Пахом к столу не сел, взял только ломоть и пошел опять к печи, на лавку. Стряпуха принесла ему горячей картошки и деревянную солоницу. Он ел постное.

— Портянки, — сказал ей Пахом, осторожно разламывая дымящуюся картошку и окуная половину ее в соль, — портянки сожгла, опять-таки ты баба, опять-таки — дура. Вот что...

Никита вышел на двор. День был мглистый. Дул мокрый, тяжелый ветер. На сером, крупчатом, как соль, снегу желтел проступивший навоз. Навозная, в лужах, заворачивающая к плотине, санная дорога была выше снега. Бревенчатые стены дворов, потемневшие соломенные крыши, голые деревья, большой деревянный некрашенный дом — все это было серое, черное, четкое.

Никита пошел к плотине. Еще издали слышался шум мокрых деревьев, будто вдалеке шумела вода в шлюзах. Качающиеся вершины ветел были закутаны низко летящими рваными облаками. В облаках, среди мотающихся сучьев, взлетали, кружились, кричали горловыми тревожными голосами черные птицы.

Никита стоял, задрал голову, раскрыв рот. Эти птицы будто взялись из сырого, густого ветра, будто их нанесло вместе с тучами, и, цепляясь за шумящие ветлы, они кричали о смутном, о страшном, о радостном, — у Никиты захватывало дыхание, билось сердце.

Это были грачи, прилетевшие с первой весенней бурей на старые места, к разоренным гнездам. Началась весна.

ДОМИК НА КОЛЕСАХ

Три дня дул мокрый ветер, съедая снега. На буграх оголилась черными бороздами пашня. В воздухе пахло талым снегом, навозом и скотиной. Когда отворяли ворота на скотном дворе, коровы выходили к колодцу, тесня друг друга, стуча рогами и громко мыча. Бык Баян свирепо ревел, нюхая весенний ветер. Едва-едва Мишка Коряшонок и Лекся в два кнута загоняли скотину обратно в разбухшие навозом дворы. Отворяли ворота конского загона, — лошади выходили сонные, будто пьяные, с потемневшей, линявшей шерстью, с отвислыми грязными гривами, с раздутыми животами. Веста жеребилась в клетки, рядом с конюшней. Без толку суется и крича, летали над крышами мокрые галки. На задах, за погребницей, вороны ходили вокруг обнажившейся из-под снега падали. А деревья все шумели, шумели тяжелым, тревожным шумом. Над плотиной, в ветлах, в тучах, летали, кричали грачи.

У Никиты болела голова все эти дни. Сонный, встревоженный, бродил он по двору, по разбухшим дорогам, уходил на гумно, где от початых ометов мякины пахло хлебной пылью и мышами. Ему было мутно и тревожно, точно что-то должно произойти страшное, то, чего нельзя понять и простить. Все земля, животные, скот, птицы перестали быть понятными ему, близкими, — стали чужими, враждебными, зловещими. Что-то должно было случиться, — непонятное, такое грешное, что хоть умри. И все же его, сонного и одурелого от ветра, запаха падали, лошадиных копыт, навоза, рыхлого снега, мучило любопытство, тянуло ко всему этому.

Когда он возвращался домой, мокрый, одичавший, пахнувший собакой, матушка глядела на него внимательно, неласково, осуждающе. Он не понимал, за что сердится она, и это еще более подбавляло мути, мучило Никиту. Он ничего плохого не сделал за эти дни, а все-таки было тревожно, будто он тоже виноват в каком-то ни с того ни с сего начавшемся во всей земле преступлении.

Никита шел вдоль омета, с подветренной стороны. В этом омете еще остались норы, выкопанные рабочими и девками поздней осенью, когда домолачивали последние скирды пшеницы. В норы и пещеры в глубине омета люди залезали спать на ночь. Никита вспомнил, какие он слышал разговоры там, в темноте теплой пахучей соломы. Омет показался ему страшным.

Никита подошел к стоящей недалеке от гумна, в поле, плугарской

будке — дощатому домику на колесах. Дверца его, мотаясь на одной петле, уныло поскрипывала. Домик был пустынный. Никита взобрался в него по лесенке в пять жердочек. Внутри было маленькое окошечко в четыре стеклышка. На полу еще лежал снег. Под крышей, у стены, на полочке еще с прошлой осени валялись изгрызанная деревянная ложка, бутылка из-под постного масла и черенок от ножа. Посвистывал ветер над крышей. Никита стоял и думал, что вот он теперь один-одинешенек, его никто не любит, все на него сердятся. Все на свете — мокрое, черное, зловещее. У него застлало глаза, стало горько: еще бы, — один на всем свете, в пустой будке...

— Господи, — проговорил Никита вполголоса, и сразу по спине побежали холодные мурашки, — дай, господи, чтобы было опять все хорошо. Чтобы мама любила, чтобы я слушался Аркадия Ивановича... Чтобы вышло солнце, выросла трава... Чтобы не кричали грачи так страшно... Чтобы не слышать мне, как ревет бык Баян... Господи, дай, чтобы мне было опять легко...

Никита говорил это, кланяясь и торопливо крестясь. И когда он так помолился, глядя на ложку, бутылку и черенок от ножа, — ему на самом деле стало легче. Он постоял еще немного в этом полутемном домике с крошечным окошком и пошел домой.

Действительно, домик помог: в прихожей, когда Никита раздевался, проходившая мимо матушка взглянула на него, как всегда в эти дни, внимательно строгими серыми глазами и вдруг нежно улыбнулась, провела ладонью Никите по волосам и сказала:

— Ну, что, набегался? Хочешь чаю?

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ВАСИЛИЯ НИКИТЬЕВИЧА

Ночью, наконец, хлынул дождь, ливень, и так застучало в окно и по железной крыше, что Никита проснулся, сел в кровати и слушал улыбаясь.

Чудесен шум ночного дождя. «Спи, спи, спи», — торопливо барабанил он по стеклам, и ветер в темноте порывами рвал тополя перед домом.

Никита перевернул подушку холодной стороной вверх, лег опять и ворочался под вязаным одеялом, устраиваясь как можно удобнее. «Все будет ужасно, ужасно хорошо», — думал он и проваливался в мягкие теплые облака сна.

К утру дождь прошел, но небо еще было в тяжелые сырых тучах, летевших с юга на север. Никита взглянул в окно и ахнул. От снега не осталось и следа. Широкий двор был покрыт синими, рябившими под ветром лужами. Через лужи, по измятой бурой траве, тянулась навозная, не вся еще съеденная дождем дорога. Разбухшие лиловые ветви тополей трепались весело и бойко. С юга между разорванных туч появился и со страшной быстротой летел на усадьбу ослепительный лазурный клочок неба.

За чаем матушка была взволнована и все время поглядывала на окна.

— Пятый день нет почты, — сказала она Аркадию Ивановичу, — я ничего не понимаю... Вот — дождался половодья, теперь все дороги станут на две недели... Такое легкомыслие, ужасно!

Никита понял, что матушка говорила про отца, — его ждали теперь со дня на день. Аркадий Иванович пошел разговаривать с приказчиком, — нельзя ли послать за почтой верхового? — но почти тотчас же вернулся в столовую и сказал громким, каким-то особенным голосом:

— Господа, что делается!.. Идите слушать, — воды шумят.

Никита распахнул дверь на крыльцо. Весь острый, чистый воздух был полон мягким и сильным шумом падающей воды. Это множество снеговых ручьев по всем бороздам, канавам и водомоинам бежало в овражки. Полные до краев овраги гнали вешние воды в реку. Ломая лед, река выходила из берегов, крутила льдины, выдранные с корнем кусты, шла высоко через плотину и падала в омуты.

Лазурное пятно, летевшее на усадьбу, разорвало, разогнало все тучи, синевато-прохладный свет полился с неба, стали голубыми, без дна, лужи

на дворе, обозначились ручьи сверкающими зайчиками, и огромные озера на полях и текущие овраги снопами света отразили солнце.

— Боже, какой воздух, — проговорила матушка, прижимая к груди руки под пуховой шалью. Лицо ее улыбалось, в серых глазах были зеленые искорки. Улыбаясь, матушка становилась краше всех на свете.

Никита пошел кругом двора посмотреть, что таи делается. Всюду бежали ручьи, уходя местами под серые крупчатые сугробы, — они ухали и садились под ногами. Куда ни сунься, — всюду вода: усадьба как остров. Никите удалось пробраться только до кузницы, стоящей на горке. По уже провядшему склону он сбежал к оврагу. Приминая прошлогоднюю траву, струилась, текла снеговая, чистая, пахучая вода. Он зачерпнул ее горстью и напился.

Дальше по оврагу еще лежал снег в желтых, в синих пятнах. Вода то прорывала в нем русло, то бежала поверх снега: это называлось «наслус», — не дай бог попасть с лошадьё в эту снеговую кашу. Никита шел по траве вдоль воды: вот хорошо бы поплыть по этим вешним водам из оврага в овраг, мимо просыхающих вялых берегов, плыть через сверкающие озера, рябые от весеннего ветра.

На той стороне оврага лежало ровное поле, местами бурое, местами еще снеговое, все сверкающее рябью ручьев. Вдалеке, через поле, медленно скакали пятеро верховых на неоседланных лошадях. Передний, оборачиваясь, что-то, видимо, кричал, взмахивая связкой веревок. По пегой лошади Никита признал в нем Артамона Тюрина. Задний держал на плече шест. Верховые проскакали по направлению Хомяковки, деревни, лежащей по ту сторону реки, за оврагами. Это было очень странно, — скачущие без дороги по полой воде мужики.

Никита дошел до нижнего пруда, куда по желтому снегу широкой водной пеленой вливался овраг. Вода покрывала весь лед на пруду, ходила коротенькими волнами. Налево шумели ветлы, обмякшие, широкие, огромные. Среди голых их сучьев сидели, качаясь, грачи, измокшие за ночь.

На плотине, между корявыми стволами, появился верховой. Он колотил пятками мухрастую лошадедку, заваливался, взмахивая локтями. Это был Степка Карнаушкин, — он что-то крикнул Никите, проскакивая мимо по лужам; комья грязного снега, брызги воды полетели из-под копыт.

Ясно, что-то случилось. Никита побежал к дому. У черного крыльца стояла, широко поводя раздутыми боками, карнаушкинская лошадедка, — она мотнула Никите мордой. Он вбежал в дом и сейчас же услышал короткий страшный крик матушки. Она появилась в глубине коридора,

лицо ее было искажено, глаза — побелевшие, раскрытые ужасом. За ней появился Степка, и сбоку, из другой двери, выскочил Аркадий Иванович. Матушка не шла, а летела по коридору.

— Скорее, скорее, — крикнула она, распахивая дверь на кухню, Степанида, Дуня, бегите в людскую!.. Василий Никитьевич около Хомяковки тонет...

Самое страшное было то, что «около Хомяковки». Свет потемнел в глазах у Никиты: в коридоре вдруг запахло жареным луком. Матушка впоследствии рассказывала, что Никита зажмурился и, как заяц, закричал. Но он не помнил этого крика. Аркадий Иванович схватил его и потащил в классную комнату.

— Как тебе не стыдно, Никита, а еще взрослый, — повторял он, изо всей силы сжимая ему обе руки выше локтя. — Ну что, ну что, ну что?.. Василий Никитьевич сейчас приедет... Очевидно, — просто попал в канаву, вымок... А маму твою балбес Степка напугал... Честное даю слово, я ему уши надеру...

Все же Никита видел, что у Аркадия Ивановича тряслись губы, а зрачки глаз были как точки.

В то же время матушка в одном платке бежала к людской, хотя рабочие все уже знали и около каретника, суетясь и шумя, закладывали злого, сильного жеребца Негра в санки без подрезов; ловили на конском загоне верховых лошадей; кто тащил с соломенной крыши багор, кто бежал с лопатой, со связкой веревок; Дуняша летела из дома, держа в охапке бараний тулуп и доху. Пахом подошел к матушке:

— Расстарайтесь, Александра Леонтьевна, пошлите Дуньку на деревню за водкой. Как привезем, ему сейчас — водки...

— Пахом, я сама с вами поеду.

— Никак нет, домой идите, застудитесь.

Пахом сел бочком в санки, крепко взял вожжи. «Пускай!» — крикнул он ребятам, державшим под уздцы жеребца. Негр присел в оглоблях, храпнул, рванул и легко понес санки по грязи и лужам. За ним вслед поскакали рабочие, крича и колотя веревками лошадей, сбившихся в кучу.

Матушка долго глядела им вслед, опустила голову и медленно пошла к дому. В столовой, откуда было видно поле и за холмом — ветлы Хомяковки, матушка села у окна и позвала Никиту. Он прибежал, обхватил ее за шею, прильнул к плечу, к пуховому платку...

— Бог даст, Никитушка, нас минует беда, — проговорила матушка тихо и отдельно и надолго прижалась губами к волосам Никиты.

Несколько раз в комнате появлялся Аркадий Иванович, поправлял

очки, потирал руки. Несколько раз матушка выходила на крыльцо смотреть: не едут ли? — и снова садилась к окну, не отпускала от себя Никиту.

Свет дня уже лиловел перед закатом, оконные стекла внизу, у самой рамы, подернулись тоненькими елочками: к ночи подмораживало. И неожиданно у самого дома зачмокали копыта и появились: Негр с мыльной мордой, Пахом бочком на облучке санок, и в санках, под ворохом тулупа, дохи и кошмы, багровое, среди бараньего меха, улыбающееся лицо Василия Никитьевича, с двумя большими сосульками вместо усов. Матушка вскрикнула, стремительно поднимаясь, — лицо ее задрожало.

— Жив! — крикнула она, и слезы брызнули из ее засиявших глаз.

КАК Я ТОНУЛ

В столовой, в придвинутом к круглому столу огромном кожаном кресле, сидел отец, Василий Никитьевич, одетый в мягкий верблюжий халат, обутый в чесаные валенки. Усы и влажная каштановая борода его были расчесаны на стороны, красное веселое лицо отражалось в самоваре, самовар же по-особенному, как и все в этот вечер, шумно кипел, щелкая искрами из нижней решетки.

Василий Никитьевич щурился от удовольствия, от выпитой водки, белые зубы его блестели. Матушка хотя и была все в том же сером платьице и пуховом платке, но казалась совсем на себя не похожа, — никак не могла удержаться от улыбки, морщила губы, вздрагивала подбородком. Аркадий Иванович надел новые; для особенных случаев, черепаховые очки. Никита сидел на коленях на стуле и, наваливаясь животом на стол, так и лез отцу в рот. Поминутно вбегала Дуняша, чего-то хватала, приносила, таращилась на барина. Степанида внесла на чугунной сковородке большие лепешка «скороспелки», и они шипели маслом, стоя на столе, — объеденье! Кот Василий Васильевич, задрав торчком хвост, так и ходил, так и кружил около кожаного кресла, терся об него и спиной, и боком, и затылком — урлы-мурлы, — неестественно громко мурлыкая. Еж Ахилка глядел свиной мордой из-под буфета, иголки у него пригладились со лба на спину: значит, тоже был доволен.

Отец с удовольствием съел горячую лепешку, — аи да Степанида! — съел, свернув трубочкой, вторую лепешку, — аи да Степанида! — отхлебнул большой глоток чая со сливками, расправил усы и зажмурил один глаз.

— Ну, — сказал он, — теперь слушайте, как я тонул. — И он стал рассказывать. — Из Самары выехал я третьего дня. Дело в том, Саша, — он на минуточку сделался серьезным, — что мне подвернулась чрезвычайно выгодная покупка: пристал ко мне Поздюнин, — купи да купи у него каракового жеребца Лорда Байрона. Зачем, говорю, мне твой жеребец? «Поди, говорит, посмотри только». Увидел я жеребца и влюбился. Красавец. Умница. Косится на меня лиловым глазом и чуть не говорит — купи. А Поздюнин пристаёт, — купи и купи у него также и сани и сбрую... Саша, ты не сердись на меня за эту покупку? — отец взял руку матушки. — Ну, прости. — Матушка даже глаза закрыла: разве сегодня она могла сердиться, хотя бы он купил самого председателя земской управы

Поздьюнина. — Ну, так вот, — велел я отвести к себе на двор Лорда Байрона и думаю: что делать? Не хочется мне лошадь одну оставлять в Самаре. Уложил я в чемодан разные подарки, — отец хитро прищурил один глаз, — на рассвете заложили мне Байрона, и выехал я из Самары один. Вначале еще кое-где был снежок, а потом так развезло дорогу, — жеребец мой весь в мыле, — с тела начал спадать. Решил я заночевать в Колдыбани, у батюшки Воздвиженского. Поп меня угостил такой колбасой, — умопомраченье! Ну, хорошо. Поп мне говорит: «Василий Никитьевич, не доедешь, увидишь непременно ночью овраги тронутся». А я во что бы то ни стало — ехать. Так поспорили мы с попом до полночи. Каков он угостил меня наливкой из черной смородины! Честное слово, — если привезти такую наливку в Париж, — французы с ума сойдут... Но об этом как-нибудь после поговорим. Лег я спать, и тут припустился дождик, как из ведра. Ты представляешь, Саша, какая меня взяла досада: сидеть в двадцати верстах от вас и не знать, когда я к вам попаду... Бог с ним и с попом и с наливкой...

— Василий, — перебила матушка и строго стала глядеть на него, — я серьезно тебя прошу больше никогда так не рисковать...

— Даю тебе честное слово, — не задумываясь, ответил Василий Никитьевич. — Так вот... Утром дождик перестал, поп пошел к обедне, а я велел заложить Байрона и выехал. Батюшки родимые!.. Одна вода кругом. Но жеребцу легче. Едем мы без дороги, по колено в воде, по озерам... Красота... Солнце, ветерок... Сани мои плывут. Ноги промочены. Необыкновенно хорошо! Наконец вижу издалека наши ветлы. Проехал Хомяковку и начал пробовать — где бы легче перебраться через реку... Ах, подлец! Василий Никитьевич ударил кулаком по ручке кресла. — Покажу я этому Поздьюнину, где мосты нужно строить! Пришлось мне подняться версты три за Хомяковку, и там переехали речку вброд. Молодец Лорд Байрон, так и вымахнул на крутой берег. Ну, думаю, речку-то мы переехали, а впереди три оврага, пострашнее. А податься уж некуда. Подъезжаю к оврагу. Представляешь, Саша: вровень с берегами идет вода со снегом. Овражище, — сама знаешь, — сажени три глубины.

— Ужас, — побледнев, проговорила матушка.

— Я выпряг жеребца, снял хомут и седелку, положил их в сани, не догадался снять дохи, — вот это меня и погубило. Влез на Байрона верхом, господи благослови! Жеребец сначала уперся. Я его огладил. Он нюхает воду, фыркает. Попятился, да и махнул в овраг, в наслус. И ушел по самую шею, бьется и — ни с места. Я слез с него и тоже ушел, — одна голова торчит. Начал я ворочаться в этой каше, не то вплавь, не то ползком. А

жеребец увидел, что я ухожу от него, заржал жалобно — не покидай! — и стал биться и сигать за мной вслед. Нагнал и передними копытами ударил сзади в раскрытую доху и потянул меня под воду. Бьюсь изо всей силы, а меня затягивает все глубже, подо мной нет дна. Счастье, что доха была расстегнута, и когда я бился под водой, она слезла с меня. Так она и сейчас там, в овраге... Я вынырнул, начал дышать, лежу в каше растопыркой, как лягушка, и слышу что-то булькает. Оглянулся, — у жеребца полморды под водой, — пузыри пускает: он наступил на повод. Пришлось к нему вернуться. Отстегнул пряжку, сорвал с него узду. Он вздернул морду и глядит на меня, как человек. Так мы барахтались больше, должно быть, часу в этом наслусе. Чувствую — нет больше сил, застываю. Сердце начало леденеть. В это время — смотрю — жеребец перестал сигать, — его повернуло и понесло: значит, выбились мы все-таки на чистую воду. В воде легче было плыть, и нас прибило к тому берегу. Байрон вылез на траву первый, я — за ним. Взял его за гриву, и мы пошли рядом, оба качаемся. А впереди — еще два оврага. Но тут я увидел — скачут мужики...

Василий Никитьевич проговорил еще несколько неясных слов и вдруг уронил голову. Лицо его было багровое, зубы мелко и часто постукивали.

— Ничего, ничего, это меня разморило от вашего самовара, — сказал он, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

У него начался озноб. Его уложили в постель, и он понес чепуху...

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

Отец пролежал три дня в жару, а когда пришел в себя, первое, что спросил, — жив ли Лорд Байрон? Красавец жеребец был в добром здоровье.

Живой и веселый нрав Василия Никитьевича скоро поднял его на ноги: валяться было не время. Начиналась весенняя суета перед севом. В кузнице наваривали лемеха, чинили плуги, перековывали лошадей. В амбарах лопатами перегоняли задохшийся хлеб, тревожа мышей и поднимая облака пыли. Под навесом шумела вейлка. В доме шла большая чистка: вытирали окна, мыли полы, снимали с потолка паутину. На балкон выносили ковры, кресла, диваны, выколачивали из них зимний дух. Все вещи, привыкшие за зиму лежать на своих местах, были потревожены, вытерты от пыли, поставлены по-новому. Ахилка, не любивший суеты, со злости ушел жить в кладовую.

Матушка сама чистила столовое серебро, серебряные ризы на иконах, открывала старинные сундуки, откуда шел запах нафталина, пересматривала весенние вещи, помятые в сундуках и от зимнего лежания ставшие новыми. В столовой стояли лукошки с вареными яйцами; Никита и Аркадий Иванович красили их наваром из луковой кожуры — получались яйца желтые, заворачивали в бумажки и опускали в кипяток с уксусом — яйца пестренькие с рисуночками, красили лаком «жук», золотили и серебрили.

В пятницу по всему дому запахло ванилью и кардамоном, — начали печь куличи. К вечеру у матушки на постели уже лежало, отдыхая под чистыми полотенцами, штук десять высоких баб и приземистых куличей.

Всю эту неделю дни стояли неровные, — то нагоняло черные тучи и сыпалась крупа, то с быстро очищенного неба, из синей бездны, лился прохладный весенний свет, то лепила мокрая снежная буря. По ночам подмораживало лужи.

В субботу усадьба опустела: половина людей из людской и из дому ушли в Колокольцовку, в село за семь верст, — стоять великую заутреню.

Матушка в этот день чувствовала себя плохо — умучилась за неделю. Отец сказал, что сейчас же после ужина завалится спать. Аркадий Иванович, ждавший все эти дни письма из Самары и не дождавшийся, сидел под ключом у себя в комнате, мрачный, как ворон.

Никите было предложено: если он хочет ехать к заутрене, пусть

разыщет Артема и скажет, чтобы заложили в двуколку кобылу Афродиту, она кована на все четыре ноги. Выхать нужно засветло и остановиться у старинного приятеля Василия Никитьевича, державшего в Колокольцовке бакалейную лавку, Петра Петровича Девятова. «Кстати, у него полон дом детей, а ты все один и один, это вредно», — сказала матушка.

На вечерней заре Никита сел в двухколесную таратайку сбоку рослого Артема, низко подпоясанного новым кушаком по дырявому армяку. Артем сказал: «Но, милая, выручай», — и старая, с провислой шеей, широкозадая Афродита пошла рысцой.

Проехали двор, миновали кузницу, переехали овраг в черной воде по ступицу. Афродита для чего-то все время поглядывала через оглоблю назад, на Артема.

Синий вечер отражался в лужах, затянутых тонким ледком. Похрустывали копыта, встряхивало таратайку. Артем сидел молча, повесив длинный нос, думал про несчастную любовь к Дуняше. Над тусклой полосой заката, в зеленом небе, теплилась чистая, как льдинка, звезда.

ДЕТИ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА

Под потолком, едва освещая комнату, в железном кольце висела лампа с подвернутым синим вонючим огоньком. На полу, на двух ситцевых перинах, от которых уютно пахло жильем и мальчиками, лежали Никита и шесть сыновей Петра Петровича — Володя, Коля, Лешка, Ленька-нытик и двое маленьких, имена их было знать неинтересно.

Старшие мальчики вполголоса рассказывали истории, Леньке-нытику попадало, — то за ухо вывертом, то за виски, чтобы не ныл. Маленькие спали, уткнувшись носом в перину.

Седьмой ребенок Петра Петровича, Анна, девочка, ровесница Никиты, веснушчатая, с круглыми, как у птицы, безо всякого смеха, внимательными глазами и темненьким от веснушек носиком, неслышно время от времени появлялась из коридора в дверях комнаты. Тогда кто-нибудь из мальчиков говорил ей:

— Анна, не лезь, — вот я встану...

Анна так же неслышно исчезала. В доме было тихо. Петр Петрович, как церковный староста, еще засветло ушел в церковь.

Марья Мироновна, жена его, сказала детям:

— Пошумите, пошумите, — все затылки вам отобью...

И прилегла отдохнуть перед заутреней. Детям тоже велено было лежать, не возиться. Лешка, круглолицый, вихрастый, без передних зубов, рассказывал:

— В прошлую пасху в подкучки играли, так я двести яиц наиграл. Ел, ел, потом живот во — раздуло.

Анна проговорила за дверью, боясь, чтобы Никита не поверил Лешке:

— Неправдычка. Вы ему не верьте.

— Ей-богу, сейчас встану, — пригрозил Лешка. За дверью стало тихо.

Володя, старший, смуглый курчавый мальчик, сидевший, поджав ноги, на перине, сказал Никите:

— Завтра пойдем на колокольню звонить. Я начну звонить, — вся колокольня трясется. Лево́й рукой в мелкие колокола — дирлинь, дирлинь, а этой рукой в большущий — бум. А в нем — сто тысяч пудов.

— Неправдычка, — прошептали за дверью. Володя быстро, так, что кудри отлетели, обернулся.

— Анна!.. А вот папаша наш страшно сильный, — сказал он, — папаша может лошадь за передние ноги поднимать... Я еще, конечно, не

могу, но зато, лето придет, приезжайте к нам, Никита, пойдем на пруд. У нас пруд — шесть верст. Я могу влезть на дерево, на самую верхушку, и оттуда вниз головой — в воду.

— А я могу, — сказал Лешка, — под водой вовсе не дышать и все вижу... В прошлое лето купались, у меня в голове червяки и блохи завелись и жуки — во какие...

— Неправдычка, — едва слышно вздохнули за дверью.

— Анна, за косу!..

— Противная какая девчонка уродилась, — сказал Володя с досадой, — к нам беспрестанно лезет, скука от нее страшная, потом матери жалуется, что ее бьют.

За дверью всхлипнули. Третий мальчик, Коля, лежа на боку, подпершись кулаком, все время глядел на Никиту добрыми, немного грустными глазами. Лицо у него было длинное, смирное, с длинным расстоянием от конца носа до верхней губы. Когда Никита оборачивался к нему, он улыбался глазами.

— А вы плавать умеете? — спросил его Никита. Коля улыбнулся глазами. Володя сказал пренебрежительно:

— Он у нас все книжки читает. Он у нас летом на крыше живет, в шалаше: на крыше — шалаш. Лежит и читает. Папаша его хочет в город определить учиться. А я пойду по хозяйственной части. А Лешка еще мал, пускай побегает. Нам горе вот с этим, с нытиком, — он дернул Ленку за петушиный вихор на макушке, — такой постылый мальчишка. Папаша говорит — у него глисты.

— Ничего это не у него, а это у меня глисты страшные, — сказал Лешка, потому что я лопухи ем и стрючки с акации ем, я могу головастиков есть.

— Неправдычка, — опять простонали за дверью.

— Ну, Анна, теперь держись, — и Лешка кинулся по перине к двери, толкнул маленького, который, не просыпаясь, захныкал. Но по коридору точно листья полетели, — Анны, конечно, и след простыл, только вдалеке скрипнула дверь. Лешка сказал, возвращаясь: — К матери скрылась. Все равно не уйдет от меня: я ей полну голову репьев набью.

— Оставь ее, Алеша, — проговорил Коля, — ну что к ней привязался?

Тогда Алешка, Володя и даже Ленка-нытик накинулись на него:

— Как это мы к ней привязываемся! Она к нам привязывается. Уйди хоть за тысячу верст, оглянись, она обязательно сзади треплется... И все ей не терпится, — что неправду говорят, делают, что не велено... Лешка сказал:

— Я раз целый день в воде в камышах просидел, только чтобы ее не видать, — всего пиявки съели.

Володя сказал:

— Сели мы обедать, а она сейчас матери докладывает: «Мама, Володя мышь поймал, она у него в кармане». А мне, может, эта мышь дороже всего.

Ленька-нытик сказал:

— Постоянно уставится, смотрит на тебя, покуда не заплачешь.

Жалуясь Никите на Анну, мальчики совсем забыли, что велено было лежать тихо, помалкивать перед заутреней. Вдруг издалика слышался густой, угрожающий голос Марьи Мироновны:

— Тыща раз мне вам повторять...

Мальчики сейчас же затихли. Потом, шепчась, толкаясь, начали натягивать сапоги, надели полушубки, обмотались шарфами и побежали на улицу.

Вышла Марья Мироновна в новой плюшевой шубе и в шали с розанами. Анна, закутанная в большой платок, держалась за руку матери.

Ночь была звездная. Пахло землей и морозцем. Вдоль порядка темных изб, по хрустящим лужам с отражающимися в них звездами, шли молча люди: бабы, мужики, дети. Вдалеке, на базарной площади, в темном небе проступал золотой купол церкви. Под ним в три яруса, один ниже другого, горели плошки. По ним пробегал ветерок и ласкал огоньки.

ТВЕРДОСТЬ ДУХА

После заутрени вернулись домой к накрытому столу, где в пасхах и куличах, даже на стене, приколотые к обоям, краснели бумажные розаны. Попискивала в окне, в клетке, канарейка, потревоженная светом лампы. Петр Петрович, в длиннополом черном сюртуке, посмеиваясь в татарские усики, такая у него была привычка, — налил всем по рюмочке вишневой наливки. Дети колупали яйца, облизывали ложки. Марья Мироновна, не снимая шали, сидела усталая, — не могла даже разговляться, только и ждала, когда, наконец, орава, — так она звала детей, — угомонится.

Едва только Никита улегся под синим огоньком лампы на перине, закрылся бараньим полушубком, в ушах у него запели тонкие, холодноватые голоса: «Христос воскрес из мертвых, смерть смерть поправ...» И снова увидел белые дощатые стены, по которым текли слезы, свет множества свечей перед сусальными ризами и сквозь синеватые клубы ладана, вверху, под церковным, в золотых звездах, синим куполом, — голубя, простершего крылья. За решетчатыми окнами — ночь, а голоса поют, пахнет овчиной, кумачом, огни свечей отражаются в тысяче глаз, открываются западные двери, наклоняясь в дверях, идут хоругви. Все, что было сделано за год плохого, — все простилось в эту ночь. С веснушчатым носиком, с двумя голубыми бантами на ушах, Анна тянется к братьям целоваться...

Утро первого дня было серенькое и теплое. Звонил благовест во все колокола. Никита и дети Петра Петровича, даже самые маленькие, пошли к мирскому амбару на сухой выгон. Там было пестро и шумно от народа. Мальчишки играли в чижика, в чушки, ездили верхом друг на дружке. У стены амбара на бревнах сидели девки в разных пестрых полушалках, в ситцевых новых, растопорщенных платьях. У каждой в руке — платочек с семечками, с изюмом, с яйцами. Грызут, лукаво поглядывают и посмеиваются.

С краю, на бревнах, вытянул наборные сапоги, развалился, ни на кого не глядит хахаль Петька — Старостин, перебирает лады гармони, да вдруг как растянет ее: «Эх, что ты, что ты, что ты!»

У другой стены стоит кружок, играют в орлянку, у каждого игрока в ладони столбиком слипшиеся семишники, трешники. Тот, кому очередь метать, бьет пятаком об землю, подошвой притопнет в пятак, шаркнет его, поднимает и мечет высоко: орел или решка?

Здесь же на землю, на прошлогоднюю траву, из-под которой лезет куриная слепота, сели девки, играют в подкучки: прячут в мякинные кучки по два яйца, половина кучек пустая, — угадывай.

Никита подошел к подкучкам и вынул из кармана яйцо, но сейчас же сзади, над самым ухом, Анна, подоспевшая непонятно откуда, шепнула ему:

— Слушайте, вы с ними не играйте, они вас обманут, обыграют.

Анна глядела на Никиту круглыми, без смеха, глазами и шмыгнула веснушчатым носиком. Никита пошел к мальчикам, игравшим в чушки, но Анна опять взялась откуда-то и углом поджатого рта зашептала:

— С этими не играйте, они вас обмануть хотят, я слышала.

Куда бы Никита ни пошел, — Анна летела за ним, как лист, и нашептывала на ухо. Никита не понимал, — зачем она это делает. Ему было неудобно и стыдно, он видел, как мальчики уже начали посмеиваться, поглядывая на него, один крикнул:

— С девчонкой связался!

Никита ушел к пруду, синему и холодному. Под глинистым обрывом еще лежал талый грязный снег. Вдали, над высокими голыми деревьями рощи, кричали грачи...

— Слушайте, знаете что, — опять зашептала за спиной Анна, — я знаю, где суслик живет, хотите, пойдем его посмотрим?

Никита, не оборачиваясь, сердито мотнул головой. Анна опять зашептала:

— Ей-боженьки, лопни глаза, я вас не обманываю. Почему не хотите суслика посмотреть?

— Не пойду.

— Ну, хотите, — куриную слепоту нароем и глаза ею натрем, и ничего не будет видно.

— Не хочу.

— Значит, вы играть со мной не хотите?..

Анна поджала губы, глядела на пруд, на синюю рябившую воду, ветерок отдувал у нее сбоку тугую косицу, острый кончик веснушчатого носика ее покраснел, глаза налились слезами, она мигнула. И сейчас Никита все понял: Анна бегала за ним все утро потому, что у нее было то же самое, что у него с Лилей.

Никита быстро пошел к самому обрыву. Если бы Анна и сейчас увязалась за ним, — он бы прыгнул в пруд, так ему стыдно и неловко. Ни с кем, только с одной Лилей у него могли быть те странные слова, особенные взгляды и улыбки. А с другой девочкой — это уж было предательство и

стыдно.

— Это вам на меня мальчишки наговорили, — сказала Анна, — ужо мамыньке на всех нажалуюсь... Одна буду играть... Не очень надо... Я знаю, где одна вещь лежит... И эта вещь очень интересная...

Никита, не оборачиваясь, слушал, как ворчала Анна, но не поддался. Сердце его было непреклонно.

ВЕСНА

На солнце нельзя было теперь взглянуть, — лохматыми ослепительными потоками оно лилось с вышины. По синему-синему небу плыли облака, словно кучи снега. Весенние ветерки пахнули свежей травой и птичьими гнездами.

Перед домом лопнули большие почки на душистых тополях, на припеке стонали куры. В саду, из разогретой земли, протыкая зелеными кочетками догнивающие листья, лезла трава, весь луг подернулся белыми и желтыми звездочками. С каждым днем прибывало птиц в саду. Забегали между стволами черные дрозды — ловкачи ходить пешком. В липах завелась иволга, большая птица, зеленая, с желтой, как золото, подпушкой на крыльях, — суется, свистела медовым голосом.

Как солнцу вставать, на всех крышах и скворечниках просыпались, заливались разными голосами скворцы, хрипели, насвистывали то соловьем, то жаворонком, то какими-то африканскими птицами, которых они наслушались за зиму за морем, — пересмешничали, фальшивили ужасно. Сереньким платочком сквозь прозрачные березы пролетел дятел, садясь на ствол, оборачивался, дыбом поднимал красный хохолок.

И вот в воскресенье, в солнечное утро, в еще не просохших от росы деревьях, у пруда закуковала кукушка: печальным, одиноким, нежным голосом благословила всех, кто жил в саду, начиная от червяков:

— Живите, любите, будьте счастливы, ку-ку. А я уж одна проживу ни при чем, ку-ку...

Весь сад слушал молча кукушку. Божьи коровки, птицы, всегда всем удивленные лягушки, сидевшие на животе кто на дорожке, кто на ступеньках балкона, — все загадали судьбу. Кукушка откуковала, и еще веселее засвистал весь сад, зашумел листьями.

Однажды Никита сидел на гребне канавы, у дороги, и, подпершись, глядел, как по берегу верхнего пруда по ровному зеленому выгону ходит табун. Почтенные мерины, опустив шеи, быстро рвали еще короткую траву, обмахивались хвостами; кобылы оборачивали головы, поглядывая — здесь ли жеребенок; жеребята на длинных, слабых, толстых в коленках ногах бегали рысью кругом матерей, боялись далеко отходить, то и дело били матери под пах, пили молоко, отставляли хвост; хорошо было напиться молока в этот весенний день.

Кобылы-трехлетки, отбиваясь от табуна, взбрыкивали, взвизгивали,

носились по выгону, брыкаясь, мотая мордой, иная начинала валяться, иная, ощерясь, визжа, норовила хватить зубами.

По дороге, миновав плотину, ехал на дрожках Василий Никитьевич в парусиновом пальто. Бороду его отдувало набок, глаза были весело прищурены, на щеке — лепешка грязи. Увидав Никиту, он натянул вожжи и сказал:

— Какая из табуна больше всего тебе по душе?

— А что?

— Безо всякого «а что»!

Никита так же, как отец, прищурился и показал пальцем на темно-рыжего меринка Клопика, — он ему уже давно приглянулся, главным образом за то, что конь был вежливый, кроткий, с удивительно доброй мордой.

— Вот этот.

— Ну и отлично, пускай нравится.

Василий Никитьевич крепко прищурил один глаз, чмокнул, шевельнул вожжами, и сильный жеребец легко понес дрожки по накатанной дороге. Никита глядел вслед отцу: нет, этот разговор неспроста.

ПОДНЯТИЕ ФЛАГА

Никиту разбудили воробьи. Он проснулся и слушал, как медовым голосом, точно в дудку с водой, свистит иволга. Окно было раскрыто, в комнате пахло травой и свежестью, свет солнца затенен мокрой листвой. Налетел ветерок, и на подоконник упали капли росы. Из сада слышался голос Аркадия Ивановича:

— Адмирал, скоро глаза продерете?

— Встаю! — крикнул Никита и с минуту еще полежал: до того было хорошо, проснувшись, слушать свист иволги, глядеть в окно на мокрые листья.

Сегодня был день рождения Никиты, одиннадцатое мая, и назначено поднятие флага на пруду. Никита не спеша — не хотелось, чтобы скоро уходило время, — оделся в новую рубашку из голубого с цветочками ситца, в новые чертовой кожи штаны, такие прочные, что ими можно было зацепиться за какой угодно сучок на дереве — выдержат. Умиляясь на самого себя, он вычистил зубы.

В столовой, на снежной свежей скатерти, стоял большой букет ландышей, вся комната была наполнена их запахом. Матушка привлекла Никиту и, забыв его адмиральский чин, долго, словно год не видала, глядела в лицо и поцеловала. Отец расправил бороду, выкатил глаза и отпраповал:

— Имею честь, ваше превосходительство, донести вам, что по сведениям грегорианского календаря, равно как по исчислению астрономов всего земного шара, сегодня вам исполнилось десять лет, во исполнение чего имею вручить вам этот перочинный ножик с двенадцатью лезвиями, весьма пригодный для морского дела, а также для того, чтобы его потерять.

После чая пошли на пруд. Василий Никитьевич, особенным образом отдувая щеку, дудел морской марш.

Матушка ужасно этому смеялась, — подбирала платье, чтобы не замочить подол в росе. Сзади шел Аркадий Иванович с веслами и багром на плече.

На берегу огромного, с извилинами, пруда, у купальни, был врыт шесте яблоком на верхушке. На воде, отражаясь зеленой и красной полосами, стояла лодка. В тени ее плавали прудовые обитатели — водяные жуки, личинки, крошечный головастики. Бегали по поверхности паучки с подушечками на лапках. На старых ветлах из гнезд глядели вниз грачихи.

Василий Никитьевич привязал к нижнему концу бечевы личный адмиральский штандарт, — на зеленом поле красная, на задних лапах, лягушка. Задудев в щеку, он быстро стал перебирать бечеву, штандарт побежал по флагштоку и у самого яблока развернулся. Из гнезда и с ветвей поднялись грачи, тревожно крича.

Никита вошел в лодку и сел на руль. Аркадий Иванович взялся за весла. Лодка осела, качнулась, отделилась от берега и пошла по зеркальной воде пруда, где отражались ветлы, зеленые тени под ними, птицы, облака. Лодка скользила между небом и землей. Над головой Никиты появился столб комариков, — они толклись и летели за лодкой.

— Полный ход, самый полный! — кричал с берега Василий Никитьевич.

Матушка махала рукой и смеялась. Аркадий Иванович налег на весла, и из зеленых, еще низких камышей с кряканьем, в ужасе, полулетом по воде побежали две утки.

— На абордаж, лягушиный адмирал. Урррра! — закричал Василий Никитьевич.

ЖЕЛТУХИН

Желтухин сидел на кустике травы, на припеке, в углу, между крыльцом и стеной дома, и с ужасом глядел на подходившего Никиту.

Голова у Желтухина была закинута на спину, клюв с желтой во всю длину полосой лежал на толстом зобу.

Весь Желтухин нахохлился, подобрал под живот ноги. Никита нагнулся к нему, он разинул рот, чтобы напугать мальчика. Никита положил его между ладонями. Это был еще серенький скворец, — попытался, должно быть, вылететь из гнезда, но не сдержали неумелые крылья, и он упал и забился в угол, на прижатые к земле листья одуванчика.

У Желтухина отчаянно билось сердце: «Ахнуть не успеешь, — думал он, сейчас слопают». Он сам знал хорошо, как нужно лопать червяков, мух и гусениц.

Мальчик поднес его ко рту. Желтухин закрыл пленкой черные глаза, сердце запрыгало под перьями. Но Никита только подышал ему на голову и понес в дом: значит, был сыт и решил съесть Желтухина немного погодя.

Александра Леонтьевна, увидев скворца, взяла его так же, как и Никита, в ладони и подышала на головку.

— Совсем еще маленький, бедняжка, — сказала она, — какой желторотый, Желтухин.

Скворца посадили на подоконник раскрытого в сад и затянутого марлей окна. Со стороны комнаты окно также до половины занавесили марлей. Желтухин сейчас же забился в угол, стараясь показать, что дешево не продаст жизнь.

Снаружи, за белым дымком марли, шелестели листья, дрались на кусту презренные воробьи — воры, обидчики. С другой стороны, тоже из-за марли, глядел Никита, глаза у него были большие,двигающиеся, непонятные, очаровывающие. «Пропал, пропал», — думал Желтухин.

Но Никита так и не съел его до вечера, только напустил за марлю мух и червяков. «Откармливают, — думал Желтухин и косился на красного безглазого червяка, — он, как змей, извивался перед самым носом. — Не стану его есть, червяк не настоящий, обман».

Солнце опустилось за листья. Серый, сонный свет затягивал глаза, — все крепче вцеплялся Желтухин коготками в подоконник. Вот глаза ничего уже не видят. Замолкают птицы в саду. Сонно, сладко пахнет сыростью и травой. Все глубже уходит голова в перья.

Нахохлившись сердито — на всякий случай, Желтухин качнулся немного вперед, потом на хвост и заснул.

Разбудили его воробьи — безобразничали, дрались на сиреновой ветке. В сереньком свете висели мокрые листья. Сладко, весело, с пощелкиванием засвистал вдалеке скворец. «Сил нет — есть хочется, даже тошнит», — подумал Желтухин и увидал червяка, до половины залезшего в щелку подоконника, подскочил к нему, клюнул за хвост, вытащил, проглотил: «Ничего себе, червяк был вкусный».

Свет становился синее. Запели птицы. И вот сквозь листья на Желтухина упал теплый яркий луч солнца. «Поживем еще», — подумал Желтухин, подскочив, клюнул муху, проглотил.

В это время загremели шаги, подошел Никита и просунул за марлю огромную руку; разжав пальцы, высыпал на подоконник мух и червяков. Желтухин в ужасе забился в угол, растопырил крылья, глядел на руку, но она повисла над его головой и убралась за марлю, и на Желтухина снова глядели странные, засасывающие, переливающиеся глаза.

Когда Никита ушел, Желтухин оправился и стал думать: «Значит, он меня не съел, а мог. Значит, он птиц не ест. Ну, тогда бояться нечего».

Желтухин сытно покушал, почистил носиком перья, попрыгал вдоль подоконника, глядя на воробьев, высмотрел одного старого, с драным затылком, и начал его дразнить, вертеть головой, пересвистывать: фюють, чилик-чилики, фюють. Воробей рассердился, распушился и с разинутым клювом кинулся к Желтухину, — ткнулся в марлю. «Что, достал, вот то-то», — подумал Желтухин и вразвалку заходил по подоконнику.

Затем снова появился Никита, просунул руку, на этот раз пустую, и слишком близко поднес ее. Желтухин подпрыгнул, изо всей силы клюнул его в палец, отскочил и приготовился к драке. Но Никита только разинул рот и закричал: ха-ха-ха.

Так прошел день, — бояться было нечего, еда хорошая, но скучновато. Желтухин едва дождался сумерек и выпался в эту ночь с удовольствием.

Наутро, поев, он стал выглядывать, как бы выбраться из-за марли. Обошел все окошко, но щелки нигде не было. Тогда он прыгнул к блюдечку и стал пить, — набирал воду в носик, закидывал головку и глотал, — по горлу катился шарик.

День был длинный. Никита приносил червяков и чистил гусиным пером подоконник. Потом лысый воробей вздумал подраться с галкой, и она так его тюкнула, — он камешком нырнул в листья, глядел оттуда ошестинясь.

Прилетела зачем-то сорока под самое окно, трещала, суетилась, трясла

хвостом, ничего путного не сделала.

Долго, нежно пела малиновка про горячий солнечный свет, про медовые каши, — Желтухин даже загрустил, а у самого так и клокотало в горлышке, хотелось запеть, — но где, не на окошке же, за сеткой!..

Он опять обошел подоконник и увидел ужасное животное: оно шло, кралось на мягких коротких лапах, животом ползло по полу. Голова у него была круглая, с редкими усами дыбом, а зеленые глаза, узкие зрачки горели дьявольской злобой. Желтухин даже присел, не шевелился.

Кот Василий Васильевич мягко подпрыгнул, впился длинными когтями в край подоконника — глядел сквозь марлю на Желтухина и раскрыл рот... Господи... во рту, длиннее Желтухиного клюва, торчали клыки... Кот ударил короткой лапой, рванул марлю... У Желтухина нырнуло сердце, отвисли крылья... Но в это время — совсем вовремя — появился Никита, схватил кота за отставшую кожу и швырнул к двери. Василий Васильевич обиженно взвыл и убежал, волоча хвост.

«Сильнее Никиты нет зверя», — думал после этого случая Желтухин, и, когда опять подошел Никита, он дал себя погладить по головке, хотя со страху все же сел на хвост.

Кончился и этот день. Наутро совсем веселый Желтухин опять пошел осматривать помещение и сразу же увидел дыру в том месте, где кот рванул марлю когтем. Желтухин просунул туда голову, осмотрелся, вылез наружу, прыгнул в текущий легкий воздух и, мелко-мелко трепеща крылышками, полетел над самым полом.

В дверях он поднялся и во второй комнате, у круглого стола, увидел четырех людей. Они ели, — брали руками большие куски и клали их в рот. Все четверо обернули головы и, не двигаясь, глядели на Желтухина. Он понял, что нужно остановиться в воздухе и повернуть назад, но не мог сделать этого трудного, на всем лету, поворота, — упал на крыло, перевернулся и сел на стол, между вазочкой с вареньем и сахарницей... И сейчас же увидел перед собой Никиту. Тогда, не раздумывая, Желтухин вскочил на вазочку, а с нее на плечо Никиты и сел, нахохлился, даже глаза до половины прикрыл пленками.

Отсидевшись у Никиты на плече, Желтухин вспорхнул под потолок, поймал муху, посидел на фикусе в углу, покружился под люстрой и, проголодавшись, полетел к своему окну, где были приготовлены для него свежие червяки.

Перед вечером Никита поставил на подоконник деревянный домик с крылечком, дверкой и двумя окошечками. Желтухину понравилось, что внутри домика — темно, он прыгнул туда, повернулся и заснул.

А тою же ночью, в чулане, кот Василий Васильевич, запертый под замок за покушение на разбой, орал хриплым мявом и не хотел даже ловить мышей, сидел у двери и мяукал так, что самому было неприятно.

Так в доме, кроме кота и ежа, стала жить третья живая душа — Желтухин. Он был очень самостоятелен, умен и предприимчив. Ему нравилось слушать, как разговаривают люди, и, когда они садились к столу, он вслушивался, нагнув головку, и выговаривал певучим голоском: «Саша», — и кланялся. Александра Леонтьевна уверяла, что он кланяется именно ей. Завидев Желтухина, матушка всегда говорила ему: «Здравствуй, здравствуй, птицын серый, энергичный и живой». Желтухин сейчас же вскакивал матушке на шлейф платья и ехал за ней, очень довольный.

Так он прожил до осени, вырос, покрылся черными, отливавшими вороньим крылом перьями, научился хорошо говорить по-русски, почти весь день жил в саду, но в сумерки неизменно возвращался в свой дом на подоконник.

В августе его сманили дикие скворцы в стаю, обучили летать, и, когда в саду стали осыпаться листья, Желтухин — чуть зорька — улетел с перелетными птицами за море, в Африку.

КЛОПИК

Весенние полевые работы были закончены, фруктовый сад перекопан и полит, — настало пустое время до Петрова дня, до покоса. Рабочих лошадей выгнали в табун, и они ходили за прудом, на сочных лугах, где по утрам стоял голубоватый туман и огромные одинокие осоки, казалось, росли из мглистого воздуха, — висели над землей.

При табуне конюшонком состоял Мишка Коряшенок. Он ездил на высоком казацком седле, вдев в стремя босые ноги, заваливался и болтал локтями.

Скача по зеленому лугу за отбившейся от табуна кобылкой, Мишка кричал: «Азат!» — и хлопал кнутом, как из пистолета. Потом, соскочив с разнузданной лошади, которая, позвякивая удилами, принималась рвать траву, Мишка либо садился на гребне канавы и строгал палочку, либо, закатав выше колена портки, заходил в пруд и из парной воды вытаскивал луковицы камыша и камышовые корни, черные и длинные, как змеи; луковички были кисленькие и хрустящие, а корни — мучнистые и сладкие. Если их много съесть, сильно начинал болеть живот.

Никита на весь день уходил за пруд к Мишке Коряшонку и обучался у него верховой езде.

Влезать в седло было нетрудно: старый сивый, в гречку, мерин стоял смирно, лишь подбивал себя в брюхо задней ногой, отгоняя слепня. Но, усевшись, взяв поводья и пустив сивого рысью, Никита начинал валиться то на правый бок, то на левый. Когда же сивый, пройдя шагов тридцать, сразу останавливался и опускал в траву губастую морду, Никита судорожно вцеплялся в переднюю луку, а иногда и скатывался через шею под ноги сивому, к чему тот относился спокойно. Мишка говорил:

— Ты не робей, падать не больно, шею только втягивай и руками избави тебя бог за землю хвататься, — вались кубарем. Вот я тебе покажу, как без седла, без узды — вскочил и лети.

Мишка побежал к неезженным еще трехлеткам и, протянув руку, начал их звать:

— Хлеба, хлеба, хлеба...

К нему подошла хлебница, тонконогая балованная кобыла Звезда, караковая в яблоках, наставила ушки и бархатными губами искала хлеба. Мишка стал чесать ей шею. Звезда закивала строгой головкой — было приятно, и чтобы доставить Мишке удовольствие, тоже стала хватать его

зубами за плечо.

Мишка огладил ее, провел ладонью вдоль атласной спины, — Звезда тревожно переступила, — он схватился за холку и вспрыгнул на нее. Удивленная, разгневанная, Звезда шарахнулась вбок, замотала головой, взбрыкнула, присела, взвилась на дыбы и во весь мах поскакала вдоль табуна.

Мишка сидел на ней, как клещ. Тогда она на всем скаку остановилась и поддала задом, Мишка клубком покатился в траву. Вернулся он к Никите прихрамывая, вытирая с исцарапанной щеки кровь.

— Прямо в хворост скинула проклятая кобылешка, — сказал он, — а ты так не можешь, в тебе жиру много.

Никита промолчал. Подумал: «Голову сломаю, научусь ездить лучше Мишки».

За обедом он рассказал про Звезду, матушка разволновалась.

— Слышишь, — сказала она, — я тебя прошу даже близко не подходить к неезженным лошадям, — и она с мольбой взглянула на Василия Никитьевича. Вася, поддержи хоть ты меня... Кончится тем, что он сломает себе руки и ноги...

— Вот и отлично, — сказал на это Василий Никитьевич, — запрети ему ездить верхом, запрети ходить пешком, — тоже ведь может нос разбить, — посади его в банку, обложи ватой, отправь в музей...

— Я так и знала, — ответила матушка, — я знала, что этим летом мне ни часу не будет покоя...

— Саша, пойми, что мальчику десять лет.

— Ах, все равно...

— Прости, пожалуйста, я вовсе не хочу, чтобы из него вышел какой-нибудь несчастный Слюнтяй Макаронович.

— Да, но это не значит, что ему нужно немедленно же дарить Клопика.

— Во-первых, на Клопике может ездить грудной ребенок.

— Он кованый.

— Нет, я его велел расковать.

— Ах, в таком случае делайте все, что хотите, садитесь на бешеных лошадей, ломайте себе головы, — у матушки налились слезами глаза, она быстро встала из-за стола и ушла в спальню.

Василий Никитьевич шибко разгладил бороду на две стороны, швырнул салфетку и пошел к матушке. Аркадий Иванович, все время сидевший так, точно этот разговор его не касался, взглянул на Никиту, поправит очки и проговорил шепотом:

— Да, брат, плохо твое дело.

— Аркадий Иванович, скажите маме, что я не буду падать... Честное слово, что я...

— Терпение, выдержка и твердость характера, — Аркадий Иванович ловко поймал муху, упорно норотившую сесть ему на нос, — эти три качества важны также для умения хорошо ездить верхом...

В спальне в это время шел крупный разговор. Голос отца гудел: «В его возрасте мальчишки совершенно самостоятельны...» — «Где, где они самостоятельны?» — отчаянным голосом спрашивала матушка... «В Америке они самостоятельны...» — «Это неправда...» — «А я тебе говорю, что в Америке десятилетний мальчишка так же самостоятелен, как я, например». — «Боже мой, но мы не в Америке...»

Целую неделю продолжались разговоры о самостоятельности. Матушка уже сдавалась и с грустью поглядывала на Никиту, как на подлежащего на слом, нанялась только, что сохранит он хоть голову.

Никита за эту неделю старательно учился за прудом верховой езде, Мишка его одобрял и показал лихацкую штуку — прыгать на лошадь с разбегу, сзади, как в чехарду.

— Она тебя сроду брыкнуть не успеет, брыкнет, а ты уже у ней на холке.

Наконец за утренним чаем, на балконе, где вьющиеся по бечевкам настурции бросали движущиеся тени на скатерть, на тарелки, на лица, матушка подозвала Никиту, поставила его перед собой и сказала печальным голосом:

— Ты знаешь, тебе уже десять лет и ты должен быть самостоятелен, в твои годы другие мальчишки вполне, вполне... — У нее дрогнул голос, она чуть-чуть нахмурилась в сторону отца. — Словом, папа прав, что ты уже не ребенок. — Василий Никитьевич, опустив глаза, барабанил пальцами по краю стола. — Завтра мы собираемся в гости к Чембулатовой, и ты, если хочешь, можешь поехать верхом на Клопике... Я только прошу, прошу тебя...

— Мамочка, честное, понимаешь, расчестное слово, со мной ничего не случится, — и Никита целовал матушку в глаза, в щеки, в подбородок, в пахнувшие ягодами руки.

Назавтра, после раннего обеда, Василий Никитьевич велел Никите взять седло — английское, из серой замши, подаренное на рождество, — и говорил, шагая по траве к конюшням:

— Ты должен выучиться чистить лошадь, взнуздывать, седлать — и после езды — вываживать... Лошадь должна быть в холе, в чистоте, тогда ты хороший кавалерист.

В раскрытом настезь каретнике закладывали тройку в коляску. Кучер Сергей Иванович, в безрукавке, в малиновых рукавах, но в простом картузе, шапочку с перьями он надевал, только садясь на козлы, — выправлял на пристяжной шлею и ругал помогавшего ему Артема:

— Куда ты ей под грудь ремень суешь, невежа! Ведь эта упряжь выездная. Оставь супонь, не касайся. Тебе кота запрягать в лукошко.

— Я безлошадный.

— То-то за тебя и девки не идут, что ты — невежа. Подай мне новые вожжи.

Коренник Лорд Байрон, растянутый на ремне в широких дверях, грыз удила, топал по деревянному полу и не больно хватал зубами за плечо Сергея Ивановича, выправлявшего ему челку из-под наборной узды. В каретнике пахло кожей, здоровым конским потом и голубями. Когда тройка была заложена, Сергей Иванович с улыбочкой обратился к Никите:

— Сами желаете седлать?

Клопика вывели из конюшни. Никита с волнением оглядел его.

Клопик был рыжий, хорошо вычищенный, курбатенький, плотный меринок, в чулках, с темным густым хвостом и темной же гривой. Большая челка закрывала ему глаза, и он поматывал головой, весело поглядывая из-за волос. Вдоль спины у него шел черный ремешок.

— Конь добрый, — сказал Сергей Иванович и поднес ему ведро с водой. Клопик выпил и поднял морду — вода текла у него с серых губ.

Никита взял узду и, как его учили, завел удила сбоку в рот и взнуздал. Клопик похватал зубами железо. Никита наложил потник, серую с вензелем попону, поверх нее — седло и стал затягивать подпруги, — дело было нелегкое.

— Надувается, — сказал Сергей Иванович, — хитрое животное, брюхо надувает, — и он шлепнул ладонью Клопику по животу; мерин выдохнул воздух, Никита затянул подпруги.

Подошел Василий Никитьевич и начал командовать:

— В левую руку поводья, заходи спереди лошади, с левого плеча. Садись. Бери ее в шенкеля. Не запускай ноги в стремя, не подворачивай носки.

Никита сел, дрожащей ногой нашел правое ускользавшее стремя, тронул, и Клопик рысью пошел прямо в конюшню.

Василий Никитьевич закричал:

— Стой! стой! Работай правым поводом, разиня!.. В конюшне, в холодке, Клопик остановился. Никита, горячий от стыда, соскочил, взял его за повод и повел к выходу, шепча хитрому меринку:

— Свинья, настоящая свинья, дурак несчастный!.. Клопик весело кивал челкой. Сергей Иванович сказал, подходя:

— Садитесь, я его проведу. Меринишка какой хитрящий. Не хочется ему работать, а хочется в холодке стоять.

Наконец Клопика обуздали, и Никита гарцевал на нем собачьим галопом вдоль скотных дворов.

Сергей Иванович надел шапочку с перьями, обсыпанные мукой перчатки, сел на козлы и крикнул сурово:

— Пускай!

Артем, державший под уздцы Лорда Байрона, отскочил в сторону, и тройка, рванувшись и стуча по доскам, вылетела из каретника, сверкая лаком и медью коляски, кидая свежими комьями с копыт пристяжных, заливаясь подобранными бубенцами, — описала по зеленому двору полукруг и стала у дома.

С крыльца спустилась Александра Леонтьевна в белом платье и, раскрывая белый зонтик, с тревогой смотрела на гарцевавшего вдалеке Никиту. Отец подсадил матушку в коляску, вскочил сам.

— Пошел!

Сергей Иванович приподнял вожжи. Караковые великолепные звери, просясь на тугих удилах, легко понесли коляску, простучали по мостику, пристяжные пошли в галоп, завились. Лорд Байрон, зная, что все это — шутки, прядал ушами. Матушка поминутно оглядывалась. Никита, пригнувшись, бросив поводья, во весь мах догонял тройку.

Он хотел лихо пролететь мимо, но Клопик рассудил, что это — лишнее, и когда поравнялся с коляской, то свернул на дорогу и пошел рысью, ровненько позади колес, в облаке пыли. Никакими силами его нельзя было ни приостановить, ни свернуть в сторону: все это он считал излишним, — ехать, так ехать по дороге, зря не задираться.

Матушка оглядывалась. Никита трясся, сжав рот, напряженно глядя между ушей лошади. От пыли тошнило, от Клопиной рыси перебултыхался живот.

— Хочешь в коляску?

Никита упрямо замотал головой. Отец, засмеявшись, сказал Сергею Ивановичу:

— Дай ходу!

Лорд Байрон наставил уши и пошел выкидывать железными ногами, пристяжные разостлались над травой, Клопик перешел в галоп, но коляска уходила, ион, рассердившись, скакал теперь что было силы — старался ужасно.

Отвратительное ощущение ровной рыси прошло, Никита сидел легко и крепко, свистел ветер в ушах, сбоку дороги ходили волнами зеленые хлеба, невидимо в солнечном свете пели простенькими голосами жаворонки... Это было почти так же хорошо, как у Фенимора Купера.

Коляска пошла шагом. Никита догнал ее и, отпыхиваясь, радостно глядел на отца.

— Хорошо, Никита?

— Чудесно... Клопик — удивительная лошадь...

В КУПАЛЬНЕ

Рано поутру Василий Никитьевич, Аркадий Иванович и Никита шли гуськом по тропинке, в сизой от росы траве, на пруд — купаться.

Утренний дымок еще стоял в густых чащах сада. На поляне, над медовыми желтыми метелками, над белыми кашками, толклись легкими листиками бабочки, летела озабоченная пчела. В чаще сада ворковал дикий голубь, — закрыв глаза, надув грудку, печально, сладко ворковал о том, что точно так же все это будет всегда, и пройдет, и снова будет.

Пройдя по длинным хлопающим по воде мосткам в дощатую купальню, Василий Никитьевич раздевался в тени на лавке, похлопывал себя по белой волосатой груди, по гладким бокам, щурился на ослепительные отблески воды и говорил:

— Хорошо, отлично!

Его загорелое лицо с блестящей бородой казалось приставленным к белому телу. От отца особенно хорошо пахло здоровьем. Когда на ногу или на плечо садилась муха, он звонко шлепал ее ладонью, и на теле оставалось розовое пятно. Остынув, отец брал душистое мыло, очень легкое, не тонущее в воде, осторожно сходил по скользкой от зеленой плесени лесенке в купальню, — вода была ему по грудь, — и начинал шибко мылить голову и бороду, фыркая и приговаривая:

— Хорошо, отлично.

Вверху, над купальней, в солнечном синем свете, стояли мушки. Залетело коромысло, трепеща глядело изумрудными выпученными глазами на мыльную голову Василия Никитьевича и уносилось боком. Аркадий Иванович в это время поспешно и стыдливо раздевался, поджимая длинные пальцы на ногах, несколько кривоватых, отворял наружную дверцу купальни, оглядывался — не видит ли его кто-нибудь с берега, — басом говорил: «Ну-с, хорошо-с», — и бросался животом в пруд. Вода с плеском расступалась, взлетали с ветел испуганные грачи, а он плыл саженками, вилял под синеватой водой худым рыжеволосым телом.

Заплыв на середину пруда, Аркадий Иванович начинал перекувыркиваться, нырял и ухал, как водяное чудовище: «Ух-брррр...»

Никита сидел калачиком на смолистой лавке и поджидал, когда отец кончит мыться. Василий Никитьевич клал на лесенку мыло и мочалку, затыкал уши и окунался три раза — мокрые волосы у него прилипали, борода отвисала клином, весь вид становился несчастный, это так и

называлось: «Делать несчастного Васю».

— Ну, поплыли, — говорил он, вылезал на наружные мостки, тяжело кидался в пруд и плыл по-лягушину, медленно разводя руками и ногами в прозрачной воде.

Никита кувырком летел в пруд и, догнав отца, плыл рядом с ним, ожидая, когда отец похвалит: за это лето Никита ловко научился плавать, купаясь с мальчиками в Чагре, — умел боком, и на спине, и стоя, и колесом под водой. Отец говорил шепотом:

— Аркадия топить.

Они разделялись и плыли с двух сторон к Аркадию Ивановичу, который по близорукости не замечал окружения. Подплыв, они кидались к нему на саженьках. Аркадий Иванович, взревев, начинал метаться, высовываясь по пояс, и нырял. Его ловили за ноги, — он больше всего на свете боялся щекотки. Но поймать его было нелегко, — чаще всего он уходил, и, когда Василий Никитьевич и Никита возвращались в купальню, Аркадий Иванович уже сидел на лавке в белье и очках и говорил с обидным хохотом:

— Плавать, плавать надо учиться, господа. Возвращаясь с пруда, обычно встречали Александру Леонтьевну в белом чепчике и в мохнатом халате. Матушка, щуря глаза от солнца и улыбаясь, говорила:

— Чай накрыт в саду, под липой. Садитесь, не ждите меня, — булочки остынут.

СТРЕЛКА БАРОМЕТРА

Василий Никитьевич вот уже несколько дней стучал ногтями по барометру и шепотом чертыхался, — стрелка стояла: «сухо, очень сухо». За две недели не упало ни капли дождя, а хлебам было время зреть. Земля растрескалась, от зноя выцвело небо, и вдали, над горизонтом, висела мгла, похожая на пыль от стада. Погорели луга, потускнели, стали свертываться листья на деревьях, и сколько Василий Никитьевич ни стучал в стекло барометра, — стрелка упорно показывала: «сухо, очень сухо».

Собираясь за столом, домашние не шутили, как прежде, — лица у отца и матушки были озабоченные; Аркадий Иванович тоже молчал, глядел в тарелку и время от времени поправлял очки, стараясь скрыть этим сдержанный вздох. Но у него была своя причина: Васса Ниловна, городская учительница, обещавшая приехать погостить в Сосновку, написала, что «прикована к постели больной матери» и надеется повидаться с Аркадием Ивановичем только осенью в Самаре.

Никита так и представлял эту Вассу Ниловну: сидит длинная унылая женщина в серой кофточке, со шнурком от часов, и одна нога ее прикована цепью к ножке кровати. В особенности в эти тусклые от сухой мглы, душные дни тоскливо было представлять себе городскую учительницу, сидящую у голой стены, у железной кровати.

За обедом Василий Никитьевич, выбивая пальцами полечку по краю тарелки, сказал:

— Если завтра не будет дождя, — урожай погиб. Матушка сейчас же опустила голову. Слышно было, как, точно в бреду, звенела муха в огромном окне, в том месте, где наверху полукруглые двойные стекла, никогда не протиравшиеся, были затянуты паутиной. Стеклянная дверь на балкон была закрыта, чтобы из сада не несло жаром.

— Неужели — опять голодный год, — проговорила матушка, — боже, как ужасно!

— Да, вот так: сиди и жди казни, — отец подошел к окну и глядел на небо, засунув руки в карманы чесучовых панталон, — еще один день этого окаянного пекла, и — вот тебе голодная зима, тиф, падает скот, мрут дети... Непостижимо.

Обед кончился в молчании. Отец ушел спать. Матушку позвали на кухню считать белье, Аркадий Иванович, чтобы уж совсем стало скверно на душе, отправился один гулять в раскаленную степь.

В комнатах, в полуденной зловещей тишине, только звенели мухи, все вещи были словно подернуты пылью. Никита не знал, куда приткнуться. Пошел на крыльцо. Под мгlistым, но особенно каким-то ослепительным белым светом солнца широкий двор был пустынен и тих, — все заснуло, замерло. От тишины, от зноя звенело в голове.

Никита пошел в сад, но и там не было жизни. Прожужжала сонная пчела. Не шевелясь, висели пыльные листья, как жестяные. На пруду, врезанная в тусклую воду, стояла лодка, грачи засидели ее белыми пятнами.

Никита побрел домой и прилег на пахнущий мышами диванчик. Посредине зала стоял оголенный от скатерти со множеством противных тонких ножек обеденный стол. Ничего на свете не было скучнее этого стола. Вдалеке на кухне негромко пела кухарка, — чистит, должно быть, толченым кирпичом, ножи и воет, воет вполголоса от смертной тоски.

Но вот в полураскрытом окне, на подоконнике, появился Желтухин, клюв у него был раскрыт, — до того жарко. Подышав, он пролетел над столом и сел Никите на плечо. Повертел головой, заглянул в глаза и клюнул в висок, в то место, где у Никиты была черненькая родинка, как зернышко, — ущипнул и опять заглянул в глаза.

— Отстань, пожалуйста, убирайся, — сказал ему Никита и лениво поднялся, налил скворцу водицы в блюдечко.

Желтухин напился, прыгнул в блюдечко, выкупался, расплескал всю воду, повеселел и полетел искать места, где бы отряхнуться, почиститься, и сел на карнизик деревянного футляра барометра.

— Фюить, — нежным голосом сказал Желтухин, — фюить, бурря.

— Что ты говоришь? — спросил Никита и подошел к барометру.

Желтухин кланялся, сидя на карнизике, опускал крылья, бормотал что-то по-птичьи и по-русски. И в эту минуту Никита увидел, что синяя стрелка на циферблате, далеко отделившись от золотой стрелки, дрожит между «переменчиво» и «бурей».

Никита забарабанил пальцами в стекло, — стрелка еще передвинулась на деление к «буре». Никита побежал в библиотеку, где спал отец. Постучал. Сонный, измятый голос отца спросил поспешно:

— А, что? Что такое?..

— Папа, поди — посмотри барометр... — Не мешай, Никита, я сплю.

— Посмотри, что с барометром делается, папа...

В библиотеке было тихо, — очевидно, отец никак не мог проснуться. Наконец зашлепали его босые ноги, повернулся ключ, и в приоткрытую дверь просунулась включенная борода:

— Зачем меня разбудил?.. Что случилось?..

— Барометр показывает бурю.

— Врешь, — испуганным шепотом проговорил отец и побежал в залу и сейчас же оттуда закричал на весь дом: — Саша, Саша, буря!.. Ура!.. Спасены!

Томление и зной усиливались. Замолкли птицы, мухи осоловели на окнах. К вечеру низкое солнце скрылось в раскаленной мгле. Сумерки настали быстро. Было совсем темно — ни одной звезды. Стрелка барометра твердо указывала «буря». Все домашние собрались и сидели у круглого сороконожечного стола. Говорили шепотом, оглядывались на раскрытые в невидимый сад балконные двери.

И вот в мертвенной тишине первыми, глухо и важно, зашумели ветлы на пруду, долетели испуганные крики грачей. Отец ушел на балкон, в темноту. Шум становился все крепче, торжественнее, и, наконец, сильным порывом ветра примяло акации у балкона, пахнуло пахучим духом в дверь, внесло несколько сухих листьев, мигнул огонь в матовом шаре лампы, и налетевший ветер засвистал, завыл в трубах и в углах дома. Где-то бухнуло окно, зазвенели разбитые стекла. Весь сад теперь шумел, скрипели стволы, качались невидимые вершины. Появился с балкона растрепанный Василий Никитьевич, рот его был раскрыт, глаза расширены. И вот — бело-синим ослепительным светом раскрылась ночь, на мгновение черными очертаниями появились низко наклонившиеся деревья. И — снова тьма. И грохнуло, обрушилось все небо. За шумом никто не услышал, как упали и потекли капли дождя на стеклах. Хлынул дождь — сильный, обильный, потоком. Матушка стала в балконных дверях, глаза ее были полны слез. Запах влаги, прели, дождя и травы наполнил зал.

ПИСЬМЕЦО

Никита соскочил с седла, привязал Клопика за гвоздь у полосатого столба и вошел в почтовое отделение в селе Утевке на базарной площади.

За открытой загородкой сидел всклокоченный, с опухшим лицом, почтмейстер и жег на свечке сургуч. Весь стол у него был закапан сургучом и чернилами, засыпан табачным пеплом. Накапав на конверт кучу пылающего сургуча, он схватил волосатой рукой печать и стукнул ею так, будто желал проломить череп отправителю. Затем полез в ящик стола, вынул марку, высунул большой язык, лизнул, наклеил, с отвращением сплюнул и уже только тогда покосился заплывшими глазами на Никиту.

Почтмейстера этого звали Иван Иванович Ландышев. У него было обыкновение читать все газеты и журналы: читал от доски до доски и, покуда не прочтет, ни за что не выдаст. Неоднократно на него жаловались в Самару, но он только хуже сердился, чтения же не прекращал. Шесть раз в год он запивал, и тогда в почтовое отделение боялись даже заходить. В эти дни почтмейстер высовывался в окошко и кричал на всю площадь: «Душу мою съели, окаянные!»

— Меня папа прислал за почтой, — сказал Никита.

Почтмейстер ничего не ответил, опять разжег сургуч, но, капнув себе на руку, вскочил, зарычал и сел опять.

— Почему я должен знать — кто такой папа? — проговорил он крайне недоброжелательно. — Тут каждый — папа, тут все — папы...

— Что вы говорите?

— Что у вас тысячу пап — говорю, — почтмейстер даже плюнул под стол. Фамилия, фамилия, спрашиваю, этому папе-то как? — Он швырнул сургуч и только после ответа Никиты вытащил из стола пачку писем.

Никита положил их в сумку, спросил робко:

— А журналов, газет разве нет? Почтмейстер начал надуваться. Никита, не дожидаясь ответа, скрылся за дверью.

У почтового столба Клопик топал ногой и обхлестывал себя хвостом, — до того его облепили мухи. Два маленьких, измазанных квасною гущей мальчика, с льяными волосами, глядели на лошадь.

— Посторонись! — крикнул им Никита, садясь в седло.

Один из мальчиков сел в пыль, другой повернулся и побежал. В окошко было видно, как в руке у почтмейстера опять пылал сургуч.

Выехав из села в степь, золотисто-желтую и горячую от спелых

хлебов, пустив Клопика идти вольным шагом, Никита раскрыл сумку и пересмотрел почту.

Одно из писем было маленькое в светло-лиловом конвертике, надписанное большими буквами — «Передать Никите». Письмецо было на кружевной бумажке. Мигая от волнения, Никита прочел:

«Милый Никита, я вас совсем не забыла. Я вас очень люблю. Мы живем на даче. И наша дача очень хорошенькая. Хотя Виктор очень пристаёт, не даёт мне жить. Он отбил у мамы от рук. Ему в третий раз обстригли машинкой волосы, и он ходит весь расцарапанный. Я гуляю одна в нашем саду. У нас есть качели и даже яблоки, которые ещё не поспели. А помните про волшебный лес? Приезжайте осенью к нам в Самару. Ваше колечко я ещё не потеряла. До свидания. Лиля».

Несколько раз перечел Никита это удивительное письмо. Из него пахнуло вдруг прелестью отлетевших рождественских дней. Затеплились свечи. Покачиваясь тенью на стене, появился большой бант над внимательными синими глазами девочки, зашуршали елочные цепи, заискрился лунный свет в замерзших окнах. Призрачным светом были залиты снежные крыши, белые деревья, снежные поля... Под лампой, у круглого стола, снова сидела Лиля, облокотившись на кулачок... Колдовство!..

Никита привстал на стременах, взмахнул плетью, — Клопик от неожиданности шарахнулся в сторону и поскакал собачьим галопом. Вековечно засвистал ветер в ушах. Над широкой степью, над спелыми, кое-где уже сжатыми хлебами, высоко над глиняным обрывом речки — плавал орел. В ложине, у солончакового озера, кричали чибисы — жалобно, пустынно. «Скачи, скачи, скачи! — думал Никита. Сердце его радостно, сильно билось. — Свисти, свисти, ветер!.. Лети, лети, птица орел!.. Кричи, кричи, чибис, — я счастливее тебя. Ветер да я, ветер да я...»

ЯРМАРКА В ПЕСТРАВКЕ

Третий день Василий Никитьевич и матушка ссорились: отцу очень хотелось поехать на ярмарку в Пестравку, матушка же была решительно против этой поездки:

— В Пестравке прекрасно, мой друг, и без тебя обойдутся.

— Странно, — отвечал отец, захватывая всю горстью бороду, кусая ее и пожимая плечами, — это очень странно!

— Ну пусть, мой друг, тебе странно.

— Нет, это в высшей степени странно!

— А я еще раз повторяю, — говорила матушка, — что нам новые лошади не нужны: слава богу, выездных — полна конюшня.

— Пойми наконец, что я еду, чтобы продать эту проклятую кобылу Заремку.

— Напрасно, Заремка — прекрасная кобыла.

— Что ты мне говоришь! — Отец расставлял ноги и выпучивал глаза. Заремка кусается и бьет задом.

— Нет, — твердо отвечала матушка, — Заремка не кусается и не бьет задом.

— В таком случае, — отец даже расшаркивался, — я прямо заявляю: или эта проклятая кобыла в хозяйстве, или я!

В конце концов матушка, как и догадывался Никита, предпочла отца. Спор кончился примирением и уступками: кобылу решено было продать, отец же дал честное слово «не тратить сумасшедших денег на ярмарке».

Чтобы не тратить денег, Василий Никитьевич придумал послать в Пестравку два воза яблок — падалицы — и продать их в развес.

Никита отпросился ехать на возах вместе с Мишкой Коряшонком.

С утра начались препятствия. Оказалось, что лошади не были приготовлены, и Мишка Коряшонок залился на пристяжной в табун, который едва виднелся на дымящейся утренним паром низине за прудами. Затем, когда из конюшни вывели рыжую в чулках Заремку и начали чистить ее скребницей, кобылахватила зубами Сергея Ивановича, — едва не заела. Отец увидел это из окна и в ночном белье побежал в конюшню:

— Ага, кусается!.. Что, говорил я вам, черти окаянные!..

Заремка начала пятиться, садиться, тащила Сергея Ивановича за недоуздок, завизжала, вырвалась и, опустив морду и брыкаясь так, что комы с копыт ее полетели выше каретника, поскакала к табуну. Затем

пропал Артем, который должен был ехать с возами. Кинулись искать — оказалось, что он еще со вчерашнего вечера сидит при волостной избе, в клоповке: подошло время платить недоимки, а их у Артема набралось лет за пять неплаченных, поэтому, — где бы он ни находился, — начальство брало его и сажало в клоповку, пока его кто-нибудь не выкупит.

Василий Никитьевич послал к старосте верхового. Артема выпустили на поруки, и он явился запрягать воза, очень веселый. Воза запрягли, к задней телеге в распрялах привязали Заремку. Никита и Мишка Коряшенок сели на переднюю телегу. Артем замахал концами вожжей, воза тронулись... «Чокушка, чокушка», — нарочно, для смеху, закричал Сергей Иванович, указывая на колесо. Артем слез, осмотрел, — чокушки были в порядке. Почесался, покачал головой... Наконец выехали.

Ехать было очень славно. Подувал ветерок, пахнувший полынью и пшеничной соломой, раскачивал на меже высокие репейники. Со скирдов, стоявших, куда хватал глаз, на ровной степи, поднимался ястреб и медленно уходил в небо. Вдали синел дымок — это у плугарской будки варили кашу.

Доехав до стана — домика на колесах, Артем остановил лошадь, и он и мальчики пошли к бочке пить прудовую, пахнущую бочкой, полную инфузорий воду. Древний старик, варивший плугарям кашу, подошел к возам, положил руку на нахлестку телеги и сказал, тряся непокрытой головой:

— Яблочки продавать везете? — Никита подал ему яблоко. — Нет, юнкер, мне жевать нечем.

Отъехав от стана, встретили четыре цабана; за быками, покачивающимися в ярмах, тащились перевернутые вверх лемехами плуги, шли лохматые, в заскорюзлых рубахах плугари — есть кашу. Артем опять остановился и долго расспрашивал — какой будет поворот на Пестравку.

К полдню ветер затих, и вдали по краю степи заходили волны жара. Вглядываясь, Никита различал в этой волнующей синеве то плывущий дом, то дерево, висевшее над землей, то корабль без мачт. Воза шли. Трещали кузнечики. И вот по степи послышался ровный заливной звон. Заремка заплясала бочком в коновязи, заржала звонко. Артем обернулся и сказал, подмигнув:

— Наш пылит!

Скоро мимо возов пролетела тройка с увалистой рысью Лорда Байрона, задиравшего морду, с вислозадыми пристяжными, грызущими землю от злости. В коляске сидел отец в чесучовой поддевке, подбоченясь; борода его летела на две стороны по ветру; поведя веселыми глазами, он

крикнул Никите:

— Хочешь ко мне? — И тройка умчалась, Наконец из-за края степи начали подниматься два купола белой церкви, журавли колодцев, верхушки редких ветел, дымки, крыши, и за степной, глинисто-желтоватой, сверкающей на солнце рекой открылось все село Пестровка, а за — ним на выгоне парусиновые балаганы и темные пятна табунов.

Воза рысью проехали по зыбкому, над самой водою, мосту, миновали церковную площадь, где в розовом доме, в крайнем окошке, играл толстый поп на скрипке, завернули по выгону к балаганам и стали близ горшечного ряда.

Никита стоял на телеге и видел: вот заросший от самых глаз черной бородой цыган, в раскрытом на голой груди синем кафтане с серебряными пуговицами, глядит в зубы больной лошаденке, а хилый мужичок, ее хозяин, с удивлением глядит на цыгана. Вот хитрый старичок уговаривает испуганную бабу купить горшок, расписанный травками, — стучит по нему ногтем. «Да мне, батюшка, горшок не такой нужен», — говорит баба. «Ты, красотка, такого горшка — обыщи весь свет — не найдешь». Вот пьяный мужик сердится около лукошка с яйцами и кричит: «Какое это яйцо? Разве это яйцо, — это яйцо щуплое. Вот у нас в Колдыбани — яйцо, у нас в Колдыбани куры по шею в зерне ходят». Вот идут девки в розовых, в желтых кофтах, в пестрых полушалках и сворачивают к парусиновым балаганам, где, перегибаясь через прилавки, кричат продавцы, хватают проходящих: «К нам, к нам, у нас покупали...» Пыль, крик, лошадиное ржанье над ярмаркой. Свистят глиняные свистульки. Повсюду торчат поднятые оглобли возов. Вот, колеся ногами, толкаясь, идет парень в разодранной на плече голубой рубахе и растягивает со всей силой гармонь: «Эх, Дуня, Дуня, Дуня!..»

Артем отпряг лошадей и начал расшпильвать воза. В это время к нему подошел человек в военном сюртуке, с шашкой на ременной портупее, поглядел на Артема и покачал головой. Артем тоже на него поглядел и снял шапку.

— Вот ты мне когда попался, бродяга, — сказал усатый человек, безусловно, я тебя сгною теперь.

— Воля ваша, — ответил Артем.

Усатый человек взял его под локоть и потащил. Вслед им засмеялся хитрый старичок, продававший горшки. Мишка Коряшонок озабоченно зашептал Никите:

— Сбегай, найди отца, скажи — Артема урядник в клоповку взял, а я воза посторожу.

Никита выбрался из толчеи и побежал по утопанному ковыльному полю к конским загонам, где он еще издали увидел отцовскую коляску. Отец, очень веселый, стоял у одного из загонів, заложив руки в карманы поддевки. Никита начал было рассказывать о происшествии с Артемом, но Василий Никитьевич сейчас же перебил:

— Видишь гнедого жеребчика... Ах, жеребчик, ах, шельма!..

По загону между лошадей ходили три башкира в вылинявших стеганых халатах и ушастых шапках и старались арканом поймать рыжего шустрого жеребчика. Но он, прикладывая уши, показывая зубы, шарахался, увертывался от аркана и то кидался в гущу табуна, то выбегал на просторное место. Вдруг он опустился на колени, пролез под жердь загороди, приподнял ее, вскочил уже по той стороне и веселым галопом помчался в ковыльную степь, отдувая гриву и хвост по ветру. Отец даже затопал ногами от удовольствия.

Башкиры, переваливаясь косолапо, побежали к верховым лошадям, косматым и низкорослым, легко ввалились в высокие седла и поскакали — двое в угон за караковым жеребчиком, третий — с арканом — наперерез ему. Жеребчик начал вертеться по полю, и каждый раз наперерез ему выскакивал башкир, визжа по-звериному. Жеребчик заметался, и тут-то ему накинули аркан на шею. Он взвился, но его с боков стали хлестать плетями, душить арканом. Жеребчик зашатался и упал. Его привели к загону, дрожащего, в мыле. Сморщенный старый башкир мешком скатился с седла и подошел к Василию Никитьевичу:

— Купи жеребца, бачка.

Отец засмеялся и пошел к другому загону. Никита опять начал рассказывать про Артема.

— Ах, досада, — воскликнул отец, — в самом деле, что мне с этим болваном делать? Вот что, — возьми двугривенный, купи калач, рыбы какой-нибудь и дожидайся меня на возах.... А Заремку я, знаешь, продал Медведеву, недорого, зато без хлопот. Ступай, я сейчас приду.

Но «сейчас» оказалось очень долгим временем. Большое бледно-оранжевое солнце повисло над краем степи, золотистая пыль встала над ярмаркой. Зазвонили к вечерне. И только тогда появился отец. Лицо у него было смущенное.

— Совершенно случайно купил партию верблюдов, — сказал он, не глядя Никите в глаза, — страшно недорого... А что, за кобылой еще не прислали? Странно. Ну, а яблок вы много продали? На шестьдесят пять копеек? Странно. Так вот что: черт с ними, с этими яблоками, — я Медведеву сказал, что продаю их ему в придачу к кобыле... Пойдем

выручать Артема...

Василий Никитьевич обнял Никиту за плечи и повел его по затихшей ярмарке, между возов, от которых в сумерки пахло сеном, дегтем и хлебом. Кое-где слышалась песня с высоким тающим в степи подголоском. Ржала лошадь.

— А знаешь, — отец остановился, глаза его лукаво блеснули, — достанется мне дома на орехи... Ну, да ничего. Завтра пойдем тройку одну смотреть серые, в яблоках... Все равно — один ответ.

НА ВОЗУ

Вечером, на возу свежей пшеничной соломы, Никита возвращался с молотьбы. Узкая полоса заката, тусклого и по-осеннему багрового, догорала над степью, над древними курганами — следами прошедших здесь в незапамятные времена кочевников.

В сумерках на пустынных сжатых полях виднелись борозды пашни. Кое-где у самой земли краснел огонек костра плугарского стана, и тянуло горьковатым дымком. Поскрипывала, покачивалась телега. Никита лежал на спине, закрыв глаза. Усталость сладко гудела во всем теле. Он полусонно вспоминал этот день...

...Четыре пары сильных кобыл ходят в круге молотильного привода. Посредине, на шкворне, на сиденьице медленно крутится Мишка Коряшонок, покрикивает, пощелкивает кнутом.

С деревянного маховика, хлопая, убегает бесконечный ремень к красной, большой, как дом, молотилке, бешено трясущейся соломотрясами и решетами. Воет, западая, ухает, свирепо ревет барабан, далеко слышный в степи, — жрет раскинутые снопы, гонит в пыльные недра молотилки солому и зерно. Задает сам Василий Никитьевич, в глухих очках, в голицах по локоть, в прилипшей к мокрой спине рубашке, — весь пыльный, с мякинной бородой, с черным ртом. Подъезжают скрипучие воза со снопами. Раздвигая ноги, бежит за возилкою парень, захватив огромный ворох соломы, становится на доску и рысью волочит солому к ометам. Старые мужики мечут ометы длинными деревянными вилами. Кончаются заботы, труды и тревоги целого года. Весь день раздаются песни, шутятся шутки. Артема, кидавшего с возов снопы на полети молотилки, девки поймали между телег, защекотали, — он боялся щекотки, — повалив, набили его под одеждой мякиной. Вот было смеху!..

...Никита открыл глаза. Покачивался, поскрипывал воз. В степи было теперь совсем темно. Все небо усыпано августовскими созвездиями. Бездонное небо переливалось, словно по звездной пыли шел ветерок. Разостлался светящимся туманом Млечный Путь. На возу, как в колыбели, Никита плыл под звездами, покойно глядел на далекие миры.

«Все это — мое, — думал он, — когда-нибудь сяду на воздушный корабль и улечу...» И он стал представлять летучий корабль с крыльями, как у мыши, черную пустыню неба и приближающийся лазурный берег неведомой планеты, серебристые горы, чудесные озера, очертания замков и

летающие над водой фигуры и облака, какие бывают в закате.

Воз стал спускаться под горку. Забрехали вдалеке собаки. Потянуло сыростью с прудов. Въехали во двор. Теплый уютный свет лился из окон дома, из столовой.

ОТЪЕЗД

Пришла осень, земля клонилась на покой. Позднее солнце вставало, не греющее, старое, — ему уже дела не было до земли. Улетели птицы. Опустел сад, осыпались листья. Из пруда вытащили лодку, — положили в сарай кверху днищем.

По утрам теперь, в местах, где падали тени от крыш, трава была седая, тронутая инеем. По инею, по осенне-зеленой траве хаживали гуси на пруд, гуси разжирили, переваливались, как комья снега. Двенадцать девок из деревни рубили капусту в большой колоде около людской, — пели песни, стучали тяпками на весь двор. С погребницы, где пахтали масло, прибежала Дуняша, грызла кочерыжки, — еще больше расхорошелась за осень, так и заливалась румянцем, и все знали, что бегают она к людской не затем, чтобы грызть кочерыжки и смеяться с девками, а затем, чтобы видел ее из окошка молодой рабочий Василий, то же самое — кровь с молоком. Артем совсем нос повесил чинил в людской хомуты.

Матушка перебралась на зимнюю половину. В доме затопили печи. Еж Ахилка натаскал тряпок и бумажек под буфет и норовил завалиться спать на всю зиму. Аркадий Иванович посвистывал у себя в комнате. Никита видел в дверную щелку, — Аркадий Иванович стоит перед зеркалом и, держа себя за кончик бородки, задумчиво посвистывает: ясно — человек задумал жениться.

Василий Никитьевич послал обоз с пшеницей в Самару и сам выехал на следующий день. Перед отъездом у него были большие разговоры с матушкой. Она ждала от него письма.

Через неделю Василий Никитьевич писал:

«Хлеб я продал, представь — удачно, дороже, чем Медведев. Дело с наследством, как и надо было ожидать, не подвинулось ни на шаг. Поэтому, само собою, напрашивается второе решение, которому ты так противилась, милая Саша. Не жить же нам врозь еще и эту зиму. Я советую торопиться с отъездом, так как занятия в гимназии уже начались. Только в виде отдельного исключения Никите будет разрешено держать вступительный экзамен во второй класс. Между прочим, мне предлагают две изумительные китайские вазы — это для нашей городской квартиры; только страх, что ты рассердишься, удерживает пока меня от покупки».

Матушка колебалась недолго. Тревога за нахождение в руках Василия Никитевича больших денег я в особенности опасность покупки им никому

на свете не нужных китайских ваз заставили Александру Леонтьевну собраться в три дня. Нужная для города мебель, большие сундуки, бочонки с засолом и живность матушка отправляла с обозом. Сама же налегке, на двух тройках, с Никитой, Аркадием Ивановичем и Василисой-кухаркой выехала вперед. День был серый и ветреный. Кругом пустынные жнивья и пашни. Матушка жалела лошадей, ехала трусцой. В Колдыбани заночевали на постоялом дворе. На другой день, к обеду, из-за плоского края степи, из серой мглы поднялись купола церквей, трубы паровых мельниц. Матушка молчала: не любила города, городской жизни. Аркадий Иванович от нетерпения покусывал бородку. Долго ехали мимо салотопенных вонючих заводов, мимо складов леса, миновали грязную слободу с кабаками и бакалейными лавками, переехали широкий мост, где по ночам шалили слободские ребята, горчичники; вот мрачные бревенчатые амбары на крутом берегу реки Самарки, — усталые лошади поднялись в гору, и колеса загремели по мостовой. Чисто одетые прохожие с удивлением оглядывались на залепленные грязью экипажи. Никите стало казаться, что обе коляски неуклюжи и смешны, что лошади — разномастные, деревенские, — хоть бы своротить с главной улицы! Вот мимо, сильно цокая подковами, пролетел вороной рысак, запряженный в лакированный шарабан.

— Сергей Иванович, что вы так едете, поскорее, — сказал Никита...

— И так доедем.

Сергей Иванович сидел степенно и строго на козлах, придерживая тройку рысцой. Наконец свернули в боковую улицу, проехали мимо пожарной каланчи, где у калитки стоял мордастый парень в греческом шлеме, и остановились у белого одноэтажного дома с чугунным через весь тротуар крыльцом. В окошке появилось радостное лицо Василия Никитыевича. Он замахал руками, исчез и через минуту сам открыл парадное.

Никита вбежал в дом первым. В небольшом, оклеенном белым, совершенно пустом зале было светло, пахло масляной краской, на блестящем крашеном полу у стены стояли две китайские вазы, похожие на умывальные кувшины. В конце зала, в арке с белыми колонками, отражавшимися в полу, появилась девочка в коричневом платье. Руки ее были заложены под белый фартучек, желтые башмачки тоже отражались в полу. Волосы были зачесаны в косу, за ушами на затылке черный бант. Синие глаза глядели строго, даже немножко прищурились. Это была Лиля. Никита стоял посреди зала, прилип к полу. Должно быть, Лиля глядела на него точно так же, как на главной улице прохожие глядели на сосновские

тарантасы.

— Письмо мое получили? — спросила она. Никита кивнул ей. — Где оно? Отдайте сию минуту.

Хотя письма при себе не было, Никита все же пошарил в кармане. Лиля внимательно и сердито глядела ему в глаза...

— Я хотел ответить, но... — пробормотал Никита.

— Где оно?

— В чемодане.

— Если вы его сегодня же не отдадите, — между нами все кончено... Я очень раскаиваюсь, что написала вам... Теперь я поступила в первый класс гимназии.

Она поджала губы и стала на цыпочки. Только сейчас Никита догадался: на лиловенькое письмо он ведь не ответил... Он проглотил слюни, отлепил ноги от зеркального пола... Лиля сейчас же опять спрятала руки под фартучек — носик у нее поднялся. От презрения длинные ресницы совсем закрылись.

— Простите меня, — проговорил Никита, — я ужасно, ужасно... Это все лошади, жнитво, молотьба, Мишка Коряшонок...

Он побагровел и опустил голову. Лиля молчала. Он почувствовал к себе отвращение, вроде как к коровьей лепешке. Но в это время в прихожей загудел голос Анны Аполлосовны, раздались приветствия, поцелуи, зазвучали тяжелые шаги кучеров, вносящих чемоданы... Лиля сердито, быстро прошептала:

— Нас видят... Вы невозможны... Примите веселый вид... может быть, я вас прощу на этот раз...

И она побежала в прихожую. Оттуда по пустым гулким комнатам зазвенел ее тоненький голос:

— Здравствуйте, тетя Саша, с приездом!

Так начался первый день новой жизни. Вместо спокойного, радостного деревенского раздолья — семь тесноватых, необжитых комнат, за окном гроыхающие по булыжнику ломовики и спешащие, одетые все, как земский врач из Пестравки, Вериносов, озабоченные люди бегут, прикрывая рот воротниками от ветра, несущего бумажки и пыль. Суета, шум, взволнованные разговоры. Даже часы шли здесь иначе, — летели. Никита и Аркадий Иванович устраивали Никитину комнату, — расставляли мебель и книги, вешали занавески. В сумерки пришел Виктор, прямо из гимназии, рассказал, что пятиклассники курят в уборной и что учитель арифметики у них в классе приклеивался к стулу, вымазанному гуммиарабиком. Виктор был независимый и рассеянный. Выпросил у

Никиты перочинный нож с двенадцатью лезвиями и ушел «к одному товарищу, — ты его не знаешь», — играть в перышки.

В сумерки Никита сидел у окна. Закат за городом был все тот же деревенский. Но Никита, как Желтухин за марлей, чувствовал себя пойманным пленником, чужим — точь-в-точь Желтухин. В комнату вошел Аркадий Иванович, в пальто и в шапке, в руке он держал чистый носовой платок, распространяющий запах одеколона.

— Я ухожу, вернусь часам к девяти.

— Вы куда уходите?

— Туда, где меня еще нет. — Он хохотнул. — Что, брат, как тебя Лиля-то приняла, — прямо в вилы... Ничего, обтешешься. И даже это отчасти хорошо деревенского жирку спустить... — Он повернулся на каблуке и вышел. За один день сделался совсем другим человеком.

Этой ночью Никита видел во сне, будто он в синем мундире с серебряными пуговицами стоит перед Лилей и говорит сурово:

— Вот ваше письмо, возьмите.

Но на этих словах он просыпался и снова видел, как идет по отсвечивающему полу и говорит Лиле:

— Возьмите ваше письмо.

У Лили длинные ресницы поднимались и опускались, независимый носик был гордый и чужой, но вот-вот и носик и все лицо перестанут быть чужими и рассмеются...

Он просыпался, оглядывался, — странный свет уличного фонаря лежал на стене... И снова Никите снилось то же самое. Никогда наяву он так не любил эту непонятную девочку...

Наутро матушка, Аркадий Иванович и Никита пошли в гимназию и говорили с директором, худым, седым, строгим человеком, от которого пахло медью. Через неделю Никита выдержал вступительный экзамен и поступил во второй класс...

КОММЕНТАРИИ

Начальные главы повести впервые печатались в двухнедельном детском журнале «Зеленая палочка», Париж, 1920, № 2, 3, 4, 5–6. Начиная с главы «Разлука» и кончая главой «Как я тонул» — в журнале «Сполохи», Берлин, 1922, № 5.

Заглавие в этих публикациях было: «Повесть о многих превосходных вещах». Последние главы, начиная с главы «Страстная неделя», впервые опубликованы были в отдельном издании повести (заглавие «Повесть о многих превосходных вещах», подзаголовок «Детство Никиты», издательство «Геликон», Москва — Берлин, 1922). Впоследствии уже под установившимся твердо заглавием «Детство Никиты» многократно переиздавалась в виде отдельных книг или входя в сборники и собрания сочинений писателя.

Повесть написана в 1919–1920 годах. По свидетельству самого писателя, мысль написать «Детство Никиты» явилась и оформилась у него в связи с одним внешним обстоятельством — он обещал издателю выходившего в Париже детского журнальчика («Зеленая палочка») дать небольшой детский рассказик: «Начал и будто раскрылось окно в далекое прошлое со всем очарованием, нежной грустью и острыми восприятиями природы, какие бывают в детстве» (Полн. собр. соч., т. 13, стр. 563).

«Детство Никиты» — автобиографическая повесть. Место действия довольно точно воспроизводит обстановку небольшой усадьбы отчима писателя А. А. Бострома, где Толстой вырос. Сохранено в повести даже название усадьбы Сосновка. Впечатления детства, воспоминания А. Толстого о ранней поре жизни в Самарской губернии вошли в содержание его произведения. В одной из своих автобиографических заметок А. Толстой писал о себе так: «Я рос один, в созерцании, в растворении, среди великих явлений земли и неба. Июльские молнии над темным садом; осенние туманы, как молоко; сухая веточка, скользящая под ветром на первом ледку пруда; зимние вьюги, засыпающие сугробами избы до самых труб; весенний шум вод; крик грачей, прилетавших на прошлогодние гнезда; люди в круговороте времен года; рождение и смерть, как восход и закат солнца, как судьба зерна; животные, птицы; козявки с красными рожицами, живущие в щелях земли; запах спелого яблока, запах костра в сумеречной лощине; мой друг Мишка Коряшонок и его рассказы; зимние

вечера под лампой, книги, мечтательность...» (Полн. собр. соч., т. 13, стр. 557–558). Как раз в такой атмосфере растет и формируется и маленький герой повести А. Толстого Никита.

Родители Никиты во многом повторяют реальные черты отчима и матери писателя. Мать Никиты зовут так же, как и мать писателя, — Александрой Леонтьевной. Для образа учителя прототипом послужил семинарист-репетитор, Аркадий Иванович Словоохотов, готовивший будущего писателя к поступлению в среднее учебное заведение. Взаимоотношения Никиты с деревенскими ребятами — с Мишкой Коряшонком и Степкой Карнаушкиным, их дружба и товарищеские игры тоже автобиографичны, так же как еще ряд подробностей и деталей. Правда, нельзя забывать при этом, что сырой материал воспоминаний, реальные факты ранней биографии А. Толстого в повести подверглись значительной обработке, представляя нам уже художественно претворенными.

Работа А. Толстого над «Детством Никиты» опиралась на некоторый предшествующий опыт писателя в этом плане. В 1912 году Толстым написан был небольшой рассказ «Логутка», рисующий обстановку усадьбы и деревни в голодный неурожайный год, рассказ, который можно считать маленьким эскизом, подготовительным этюдом к повести «Детство Никиты».

Еще много раньше, в 1902 году, в одном из писем к матери Алексей Толстой, тогда еще начинающий писатель, сообщал о своем намерении работать над темой детских воспоминаний: «...кажется, буду участвовать в журнале „Юный читатель“, если Николай (Н. А. Шишков, дядя А. Толстого. — А. А.) одобрит мои произведения, это было бы тоже недурно. Я уже начал-Детские воспоминания; кажется, что удачно» (Полн. собр. соч., т. 15, стр. 355).

Этот замысел не был осуществлен. А. Толстой создал лишь небольшой автобиографический фрагмент, который при жизни писателя не печатался. Опубликован он был в 15-м томе Полного собрания сочинений под условным названием «Я лежу в траве». Эти воспоминания о детских годах представляют собой одно из самых ранних литературных произведений А. Толстого.

Отдельными своими эпизодами (обед в людской, обучение мальчика верховой езде, зимний вечер у лампы под завывание вьюги, наступление весны и первые полевые работы) этот фрагмент явно предвосхищает некоторые из страниц позднее написанного «Детства Никиты».

Повесть «Детство Никиты» связана с традицией автобиографического жанра в нашей классической литературе, но идя в ряду таких произведений, как «Детство. Отрочество» Льва Толстого, «Детские годы Багрова внука» С. Аксакова, «Детство», «В людях» М. Горького, — повесть Алексея Толстого «Детство Никиты» в своем общем содержании и построении обнаруживает много нового и своеобразного. В частности, рассказ в ней в отличие от упомянутых выше произведений идет от третьего лица.

Первопечатный текст «Детства Никиты» имеет некоторые отличия от текста книги в ее переизданиях. Прежде всего в повесть постепенно вносился ряд стилистических исправлений. Но и со стороны своего содержания, планировки глав, их заглавий первопечатный текст подвергся некоторым изменениям.

Так, например, главы «Последний вечер» первоначально не было. Существовала лишь ее концовка — учитель Аркадий Иванович после окончания рождественских каникул будит утром Никиту на занятия. Введение автором главы «Последний вечер» создало более мягкий, плавный переход от изображения праздничных развлечений и приезда гостей к будничной поре в Сосновке.

Не существовала самостоятельно и глава с наименованием «То, что было привезено на подводе». Текст первой ее половины (кончая словами Мишки Коряшонка: «гостинцы, чай, привезли») входил в предыдущую главу «Елочная коробочка». Остальная часть текста главы «То, что было привезено на подводе» составляла отдельную маленькую главу с заглавием «Лодка». После следовавшей за тем главы «Елка» стоял заголовок «Что было в вазочке на стенных часах», и глава эта начиналась текстом теперешней главы «Неудача Виктора» (кончая упоминанием момента ухода Никиты через пруд к дому). Далее вплотную к этому шел кусок текста, рисующий Никиту дома (он слышит слова Лили о кукле Валентине, он испытывает ощущение счастья и пишет свои стихи о лесе). Затем шел текст второй половины главы «Неудача Виктора», и после давалась вся вторая часть главы «Что было в вазочке на стенных часах» — от слов «В сумерки вернулся Виктор» и включая эпизод обнаружения детьми колечка.

Эта часть главы «Что было в вазочке на стенных часах» в первоначальном виде отличалась более развернутым текстом. Атмосфера таинственности, загадочности (непонятные совпадения сна Никиты с явью, сходство Лили и дамы со старинного портрета и т. п.) выступала в ней особенно резко.

Ниже приводится текст второй половины главы «Что было в вазочке на стенных часах» таким, каким он был в журнале «Зеленая палочка», № 5–6 за 1920 год:

«Дубовые половинки дверей в соседнюю темную комнату оказались приоткрытыми.

— Часы там? — спросила Лиля.

— Еще дальше, в третьей комнате.

— Вы не бойтесь, Никита.

— Какая чепуха? Я в какую угодно темную комнату пойду.

Никита потянул половинку дверей, она неожиданно заскрипела, и жалобный скрип глухо раздался в пустых комнатах. Лиля схватила Никиту за руку. Фонарик задрожал, и красные отсветы его полетели по белым стенам.

Дети все-таки решились и вошли в дверь. Здесь сквозь два полукруглых окна лился лунный свет и голубоватыми квадратами лежал на паркете. У стены стояли рядом на кривых ножках полосатые кресла, в углу — раскорякой, низкий, глубокий диван. У Никиты закружилась голова, — точно такую он уже видел однажды эту комнату.

— Смотрите, вот они, — прошептал он, указывая на висящие рядышком на стене два портрета старичка и старушки. Но странно, что портреты казались совсем небольшими, потрескавшимися и темными. Только видны были хорошо у них глаза.

Дети на цыпочках перебежали по лунным отсветам комнату и у резной низкой дверцы обернулись. Так и есть, портреты, два темных пятна, пристально глядели на них. Никита поскорее толкнул резную дверь, и она раскрылась без шума. Кабинет (был залит ярким лунным светом). Поблескивала медь на шкафах, отсвечивали стекла, кое-где мерцало золото на книжных переплетах, и в большом футляре часов блестел круг маятника.

Дети вошли. На них с изразцов камина глядела, улыбаясь, дама в черной амазонке, на лицо ее падал лунный свет. Никита вгляделся, обернулся к Лиле и только сейчас понял, что у дамы в амазонке и у Лили одно и то же лицо. И немудрено — дама приходилась двоюродной прабабкой девочке.

Вдруг Лиля громко вскрикнула, выпростав из-под платка руку, протянула ее кверху:

— Вазочка, вазочка!

Действительно, на верху часового футляра, отделанного бронзой, стояла бронзовая вазочка с львиной головой и виноградными листьями на

ручках.

Никита никогда почему-то не замечал ее, но сейчас узнал — это была именно та самая вазочка, которую он видел во сне. Никита подставил к часам стул, вскочил на него и в ту же минуту увидел на книжном шкафу два горящих лиловым огнем глаза. У Никиты пополз мороз по спине. Глаза мигнули, двинулись, и со шкафа свесилась голова. Она разинула рот и слабо мяукнула. Это был кот Василий Васильевич, ловивший каждую ночь мышей в библиотеке.

— Вась, Вась, — заискивающим голосом позвал Никита. Кот мягко спрыгнул на пол и начал тереться головой о спинку стула и мурлыкать.

— Никита, да что же вы, умереть можно с вами! — крикнула, даже ногой топнула Лиля. Никита приподнялся на цыпочки, запустил пальцы в вазочку и на дне ее ощупал что-то твердое. Никита зажал это в кулак и спрыгнул со стула. Кот отскочил, фыркнул, поднял шерсть.

— Бежим, нашел, скорее, — крикнул Никита. И дети пустились что было силы бежать через комнаты. За ними, беззвучно по лунным квадратам, скакал Василий Васильевич, опустив хвост.

Дети выбежали в прихожую, сели на сундук, на волчий мех и, запыхавшись и дыша, глядели друг на друга. У Лили горели щеки.

— Ну, — сказала она.

Никита разжал пыльные пальцы. На ладони его засветилось синим камушком золотое, тоненькое колечко. Лиля молча всплеснула руками.

— Какое колечко! Слушайте, это наверное волшебное колечко. Что же мы с ним будем делать?

Никита взял ее руку и надел колечко на палец. Лиля слабым голосом сказала было: „Нет, почему же мне, оно так же и ваше“. Но когда колечко было надето, она обхватила Никиту руками за шею и поцеловала.

— Никита, вы лучше всех на свете.

— Лиля, вот что, — проговорил Никита, собрав все присутствие духа, — я вам посвятил одни стихи, про лес. — Он вытащил из кармана бумажку со стихами и подал Лиле. Стихи были прочитаны ею, потом им, вслух. Лиля с глубоким уважением и восторгом глядела на Никиту. Он сказал, что завтра же начнет писать целую книгу стихов и посвятит ее Лиле.

Матушка, увидав за ужином колечко и выслушав, как оно было найдено, изумилась:

— Да, колечко очень старинное, оно пролежало там в часах много десятков лет. А вы знаете, Анна Аполлосовна, кому, я думаю, оно могло принадлежать? Уверена, что это колечко той женщины, из-за которой сошел

с ума прадедушка Африкан Африканович. Ну, конечно, вот и год нацарапан. Лиля и Никита переглянулись.

Святочные, дни пролетели как птицы. Дети катались с гор, гадали, ездили ряжеными на деревню и рождество кончилось. Лилия и Виктор уехали. И Аркадий Иванович, разбудив однажды Никиту, сказал строговато: „Вставай, разбойник, через полчаса я тебя жду в классной комнате“».

Последняя глава повести — «Отъезд» подверглась при переизданиях «Детства Никиты» значительной правке, главным образом стилистической.

После слов «Через неделю Никита выдержал вступительный экзамен и поступил во второй класс» стояла еще такая заключительная фраза, завершавшая всю повесть: «Этим событием кончается его детство».

Печатается по тексту сборника А. Толстого «Повести и рассказы (1910–1943)», «Советский писатель», М. 1944.